

## Современная проза



Алексей МИХЕЕВ

## УВАРОВ

### Часть первая

1

Это была та дружба, о которой потом, много лет спустя, вспоминают:

– А ты помнишь?

– А ты, помнишь?..

– А помнишь, как мы к зачету по античной истории готовились?..

Мы тогда встречались с ним в коридоре университета, останавливались у подоконника после лекций по отдельным потокам и говорили наперебой:

– Экзистенциализм – это я!

– Нет, экзистенциализм – это я!..

И были в упоении от счастья, что дождались наконец до столь долгожданного процесса познания истины. До системы, до первоисточника. После беспорядочности и урывочности знаний всей предыдущей жизни было так радостно ощутить себя на правильном пути.

– Нет, что ни говори, экзистенциализм – колоссальная философия, а Кьеркегор – это подвиг, – говорили мы и шли в библиотеку готовиться. Садились за стол в читальном зале и вычитывали, выискивали, вылиставали, заходясь от восторга, что у нас еще так много книг впереди... Иногда перешептывались, иногда переговаривались, иногда так

увлекались, что на нас даже шикали ближайшие соседи по залу...

Сейчас у меня много друзей. Много знакомых. И относятся ко мне хорошо. И рады будут, когда к ним придешь, да и сам рад к ним прийти – а поговорить не с кем, прийти не к кому. И до университета было так же. Старых друзей, с которыми в детстве дружил, в футбол во дворе играл, в художественную школу ходил, пьянствовал между делом для остроты ощущений, было полно, а поговорить ни с кем не мог. Не о чем было поговорить. Я даже в принципе разговоров не любил, просто разговоров вообще, разговоров по поводу, болтовни. Тех разговоров, что ведутся, потому что так надо, потому что так принято при встрече делать, потому что – о б щ е н и е... А раз не изнутри, не из нужды, а лишь видимость, чтобы время занять, ритуал соблюсти, доказать самим себе, что и у вас общение возможно, то лучше не надо совсем! Такого общения!.. В праздники и на вечеринках ребята острили, прохаживаясь на мой счет: «П. – вещь в себе». От вечеринок и праздников я отказываться не мог. Плоть брала свое. Но держал себя на них замкнуто, отмалчивался и в споры и разговоры не вступал, понимая, что

все это трепотня, если уж собрались выпить, то давайте пить, веселиться, девочек, наконец, по углам щупать, но не надо делать вид, что мы собрались для общения, для разговоров, нам не о чем говорить, все это лишь притворство и самообольщение...

И вот университет, студенческое время...

И ведь не скажешь, что лишь сам университет, что лишь учеба в нем... Вон, с Гошей, сколько мы ездили на занятия вместе, на одной улице жили, задания друг другу передавали, и ничего. С Гошей – ничего.

А с Уваровым мы только говорили друг другу: «Шопенгауэр – это да!.. Клод Бернар – это да!.. Ницше – это гений!..» – и преисполнялись друг к другу нежностью от одних только фамилий.

Мы говорили: «Человек по природе одинок. Сартр прав. Он живет во враждебном, чуждом ему, его неповторимой личности, внешнем мире, и все решительно друг другу чужие...»

И стояли в коридоре у окна после занятий в давно опустевшем уже здании, не имея сил для того, чтобы заставить себя расстаться друг с другом и отправиться по домам.

Первый раз мы сошлись с ним на демонстрации по поводу праздника седьмого ноября. И надо сказать, что то, что мы сблизилось, было неожиданностью, если еще учитывать обстоятельство, что он был «красавчик». Действительно, красивый парень, настоящий красавец-мужчина, из тех красавцев, про которых Гюго сказал, что во всех остальных мужчинах они вызывают чувство неприязни и раздражения. Он и на самом деле оказался потом объектом поклонения всех девушек нашего факультета, да и на самой первой встрече на вступительных экзаменах я, помню, выдал еще на него прямую реакцию, когда мне показалось, что он подбирается к двери вперед меня, бессознательно отметив тогда: «Красавчик, да еще лезет без очереди», – и грубо заявил ему, что сейчас я по списку. И это неприязненное чувство жило во мне и в дальнейшем, и момент внутренней нестерпимости, разницы в исходных данных, присутствовал у нас всегда, придавая нашей дружбе какую-то остроту и определяя во многом ее сюжет и характер.

Поэтому то, что мы сошлись, было, в общем-то, странно и только лишний раз подтверждало, что отношения наши были гораздо глубже, чем те, что возникают при совместном проживании на одной улице или совместном выполнении каких-то одних дел.

А сошлись мы на отрицательном отношении к лицемерию. Не помню уже почему, но на демонстрации мы шли рядом. И как-то получилось, что в общем разговоре студентов мы приняли с ним одну сторону, что-то насчет демагогии, что, мол, де, если нет искреннего патриотического чувства, то не надо, хотя бы, его имитировать. Как это активно делал присутствующий в колонне замдекана Габриниус. Вся эта заведенная привычная система соблюдать какие-то функции, выполнять напередзаданное, не решать суть, не отвечать, скажем, на вопрос «зачем?», а заранее действовать в соответствии с правилами и нормами...

– Конечно, ему скоро диссертацию защищать, но, тем не менее, все это так гнусно!..

И у нас совпало. Мы посмотрели друг на друга и обнаружили, что думаем одинаково. И потом как-то само получилось, что после демонстрации мы с ним вдвоем пошли в ресторан, где заказали себе бутылку вина, какие-то закуски, что-то еще, демонстративно подчеркивая этим шагом, что вот это уже правда, это без демагогии, и с удовлетворением еще и заметили друг за другом, когда подали горячее, что в сущности своей, каждый из нас получил определенное воспитание и умеет правильно есть. Мы с некоторой настороженностью оба ждали этого момента и с облегчением увидели, что нам тут нечего беспокоиться, что при всем нашем обоюдном презрении к наперед заданным поступкам и заведенным правилам и нормам, мы презираем их не потому, что сами совсем уж не имеем о них представления и не можем их правильно исполнять.

Ну, а потом был зачет по античной истории, к которому мы готовились вместе неразлучно в пустой аудитории института весь день, с утра и до самого вечера, и после которого мы уже знали, что стали друзьями...

– А помнишь, как мы на стройке работали?..

Да. Мы тогда в зачет будущих летних работ в колхозе по решению ректората совместно с остальной мужской полови-

ной курса работали на отделке одного из корпусов нового достраивающегося уже университетского кампуса, зимой, в январе, на окраине города, у черта на рогах, куда добраться было целое испытание. И когда все остальные, как обычно в те времена на подобном рода мероприятиях, от работы отлынивали, били баклуши, тянули время, слонялись бестолку по этажам, гоня картину, ругая заведенную систему и что-то этим кому-то доказывая или символизируя – и, кстати, никто никому тогда гнать картину, доказывать или что-то там символизировать не мешал – мы, по сути, вдвоем добросовестно работали, месили раствор, шлифовали мозаику, таскали бетон, то есть выполняли как раз то, зачем нас всех туда и привезли; а в промежутках продолжали привыкать друг к другу и друг с другом говорить.

– Единственное, в чем ты можешь быть в жизни уверенным это лишь в том, что тебя родила женщина. Все остальное настолько условно, что вполне может оказаться ложью, может оказаться относительным или производным, так что об абсолютной истине не стоит вести и речи.

– Хуже того, через один-другой десяток лет, когда зачинать детей начнут в искусственно, и этот вопрос повиснет в воздухе, и уверенным быть нельзя будет вообще ни в чем.

Жили мы там же, на новой университетской площадке, осваивая построенное и открытое, но почти пустое еще в силу отдаленности и отсутствия регулярного транспорта, университетское общежитие. И это был в наших отношениях медовый месяц. Как девушки-подруги в старших классах школы на переменах ходят парочками под руку и так везде льнут друг к другу, что порой даже крепко обнимаются от избытка чувств и так и стоят всю перемену, прижавшись одна к другой, так и нас без конца тянуло друг к другу, и мы не могли выговориться, и нам было упоительно интересно друг с другом говорить...

– А помнишь, как тебе влетело в очереди магазина за то, что ты завел диспут на тему, надо ли относиться к своим потребностям с такой серьезностью...

– За что нас и выставили на улицу... Да, конечно, помню...

Все мне нравилось в Уварове, все устраивало. Все в нем вызывало во мне радость удовлетворенного любопытства и тихую нежность милления.

Например, на втором курсе в Новый год в 12 часов ночи он читал Паскаля.

– Так всю ночь и читал? – поиронизировал я на следующий день не без некоторой головной боли после праздничного ночного бдения.

– Нет. Помню, в двенадцать часов поднял голову, посмотрел на часы, подумал еще, что вот Новый год настал, и опять читать продолжил...

А потом даже как-то разъяснил: что есть рождество Христово? Зачем его встречать? Ну ладно, если встречают по стереотипу и празднуют дату, но тогда зачем пить? Ладно, когда верили, но когда не веришь, десять дней по поводу Рождества пить?... Да даже если и веришь, то пить-то зачем?

Он ни к Новому году, ни к Перво-му мая, ни будь там еще что, ни к дню Благодарения, ни к какому празднику не относился серьезно.

Или еще вот эпизод: На третьем семестре он увлеченно носился с идеей «правдоговорения». У него это выражалось в такой форме:

– Она хроменькая.

– Тише. Она ведь услышать может.

– Но я ведь правду говорю...

То есть ничего нельзя скрывать, жить всегда по правде и говорить всё в глаза честно и открыто...

– К примеру, я представил вчера, что ты умер...

Это он обо мне, при всем том, что к тому времени мы оба понимали, что ближе людей, какими мы являемся друг для друга, у нас нет больше никого на свете, что мы цепляемся друг за друга как две льдинки в проруби.

– Представил, что ты умер. И что ты думаешь... ведь ничего особенного не почувствовал. Понял, что с горя рук на себя не наложу. Больше даже, первая мысль, какая в голову пришла, это о том, что не успел книги у тебя забрать, что после твоей смерти забирать их у твоих родителей будет уже проблематично....

А тогда, перед зачетом по античной истории, когда мы, готовясь к нему, находились первый раз друг с другом вместе с утра и до вечера весь день, мы проговорили те ключевые слова, которые связали нас на всю дальнейшую жизнь...

– Почему я должен зависеть от своих рефлексов, от состояния организма, от своего здоровья, от своих желаний, от

деятельности желез и функций гормональной системы?

– Почему смысл человеческой жизни лишь в том, чтобы прожить ее хорошо? Кто это постановил, что прожить ее хорошо – это и есть верх смысла человеческого существования?

## 2

Из-за этого нашего бросающегося в глаза влечения друг к другу, к нам в университете припал еще и Боря. Боря был на курс старше нас и вообще с другого факультета, но мимо такого явления, какое мы собой представляли, он пройти, конечно, не мог. Он потом все пытался как-то вклиниться в эти наши отношения, разделить их, разделить то, что испытываем мы, как тонкий человек, он завидовал этому нашему состоянию, и поэтому часто спрашивал что-нибудь такое:

– Ты, правда, Уварова любишь?.. Ты так это и ощущаешь, что его любишь?..

И любопытству и ревности его не было границ. У него моментально после подобного разговора, даже после одних только заданных им вопросов, портилось настроение и, несмотря на его яркую внешность – а это был второй красавчик в нашем университете, и в его неотразимости никто не сомневался, и казалось, что такого зависть уже вообще не может пронять – вид у него делался жалким и несчастным.

И мне же приходилось жалеть его, продолжая общение, чтобы не ранить еще больше...

Вот мы стоим с ним на остановке, чтобы ехать по домам, и он совершенно потерянный...

Пройдешься с ним специально взад-вперед по бульвару, чтоб как-то утешить, потому что видишь в лице явное страдание, жутчайшее страдание, отвлечешь, поговоришь о постороннем, и вдруг что-то переключится где-то глубоко в нем, и он с радостью возвестит об этом:

– Ну, вот у меня и прошла апатия, – как будто скинет с себя старую одежду.

И начинает улыбаться, крутить головой по сторонам и культивировать в себе хорошее настроение.

А тут мы опять стоим на остановке, и он начинает выполнять роль уезжающей, надоевшей тебе уже до осточертения девушки, когда это такая тягость – это расставание, это страдание, это ее не-

желание уезжать, это топтание на одном месте, что дорого бы дал, чтобы у вас с ней вообще ничего никогда не было, потому что у тебя от нее начинает просто зубы ломить... Но приходится сдерживать себя, чтобы не обидеть девочку...

Так вот, Боря тогда был как девочка. Точнее сказать, он тогда именно и был девочкой. Я вообще-то думаю, что как раз эту роль он и принял в дальнейшем, несмотря на то, что об этой совсем уж интимной стороне его натуры мы никогда не говорили, даже когда ему и очень хотелось с нами поговорить... Мы продолжали просто дружить и в такие дерби не углублялись. Но он был, надо отдать ему должное, думающей, тонкой, умной, начитанной и все анализирующей девочкой, единственный, кто по-настоящему понимал, а если не совсем понимал, то был ближе всех к тому, чтобы понять, что такое наши с Уваровым отношения значат, и все время старался разобраться в том, что в нем самом не так, от чего это, что им ведет. Иногда он даже пробовал делиться с нами своими переживаниями, первыми опытами на этом его, куда толкала его натура, поприще, как он ходил, скажем, с вопросом, что же ему делать, в гостиницу к приезжавшему тогда в наш город известному актеру, имевшему именно такую репутацию, и тем, что тот ответил ему на его исповедь: «ничего тут не поделаешь, это природа, вы ничего не сможете изменить». Или о его попытке, может быть, последней, или даже единственной, как знать, близости с женщиной, с девушкой из его группы, которую он, спасаясь от своей судьбы, все же постарался предпринять и во время которой ничего не испытал, кроме гадливости. В то время как с девушкой этой, интересной, красивой – ну это, правда, на мой взгляд; понятно, куда мне до них обоих с Уваровым, я рассуждаю со своей колокольни, – Боря был, как бы там ни было, в прекрасных дружеских отношениях, а тут...

«Она разделась – груди сразу под мышки...»

И, признаться, нам, непосредственно не знакомым с такого рода человеческой психологией, его наблюдения за собой были, в общем-то, интересны, и они могли бы стать основой для сближения. В области самонаблюдения. Но эти наблюдения были опытом, все же, не нашим, не нашим общим, а опытом, как

бы это сказать... постороннего. Экзотическим опытом. Поэтому Боря, как ни сближался с нами на интеллектуальной основе, в сути своей он не мог быть близок нам, потому что он был другая природа, другая психология, другой материал, пусть и по проникновенности и тонкости, свойственной этой природе, четко оценивший нашу с Уваровым любовь друг к другу и как никто другой в вузе видящий ее, позавидовавший даже ей, попытавшийся к ней приспособиться, проникнуть в нее, разделить, и в какой-то степени разделивший, но все же, хотя мы продолжали вместе дружить еще десятилетия, ходили друг к другу уже далеко не в молодом возрасте на дни рождения, в гости, поговорить, поиграть в карты, все же ту близость, какую мы имели с Уваровым, ему пришлось искать в другом месте, и как знать, так, видимо, никогда и не найти, в нормальную жизнь так и не вписаться, вследствие чего ему предстояло, похоже, оставаться непонятым и одиноким всю его жизнь.

А вот с Уваровым мы были одно. Да и на самом деле, когда другой человек повторяет твои много раз сказанные самому себе слова:

– Не хочу жить, как все вокруг существует, встал, поел, поработал, лег спать, размножился, и в этом все? Не хочу, не хочу, не буду!

– Почему так невыносимо скучно делается, когда понимаешь, что человек живет лишь как скопище клеток и главным мотивом имеет – выживание... Как в словах Клода Бернара: «Постоянство внутренней среды – основа жизнедеятельности любого организма». Почему я должен всю жизнь об этом думать и это постоянство внутренней среды сохранять? Неужели я только для этого родился?

– Почему считается, что в одиночестве человек должен быть несчастным? Что это вечное жужжание рядом другого существа обязательно? Что отсутствие сексуального партнера в жизни – это трагедия и худшая характеристика несчастности, а отсутствие продолжения рода – это катастрофа. Почему так все за это начинают жалеть?

– Почему смысл жизни человеческой особи – это только извлекать из окружающего удовольствие. Почему именно это считается смыслом существования?

3

Характерной особенностью наших с Уваровым отношений было еще и то, что мы никогда не спорили друг с другом и всегда старались сдерживать себя в проявлении эмоций.

Например, вот, мы с ним придерживались совершенно разных точек зрения, когда дело касалось каких-то политических вещей.

– Народу всего знать нельзя, демократия это порождение недалеких людей, никогда не задумывающихся о человеческой психологии, – это так говорил он. – Никогда равные права людей не приводили в обществе ни к чему положительному.

– Нет, народ должен знать все. Авторитарных методов и авторитарного мировоззрения придерживаются только люди, переоценивающие свои способности, это клиника, извращение в человеческой психологии, – это говорил я. – Самые идеальные общественные структуры максимально напоминают монашеский скит, где все одинаково равны перед третьей силой, перед их Богом. Это прообраз всех благополучных обществ в мире.

– Если бы мы, такие как я, пришли к власти, таких, как ты, для пользы же общества мы бы сразу расстреляли, – говорил он.

– Нет, – возражал я, – мы бы в свою очередь, случись вдруг у нас власть, расстреливать не стали бы. Это не наш метод. Мы бы вас перевоспитывали в более человеческих условиях...

И все это даже не повышая друг на друга голоса.

Точно так же мы о нравственности не говорили никогда. Одно слово «нравственность» вызывало в нас аллергию. И в позу оскорбленной добродетели мы никогда не становились. Когда это делается по принципу говорения красивых слов, типа:

– Если ты еще раз такое скажешь – ты мне не друг!

Это, конечно, при употребленных до этого в речи слов «бескорыстная дружба мужская».

Или еще такие перлы (был у меня один такой приятель): «Откажу тебе от дома! Вычеркну из числа своих друзей, вырву твой телефон из своей записной книжки!..». Очаровательно, не правда ли?.. Меня однажды-таки достал такой



друг, литератор, поэт, насильно ко мне припавший, чтобы делать мне добро. Чтобы дружить и делать добро. Он это поставил себе за цель: делать доброе, вечное...

Нет, мы обходились без аффектации. Один раз после одного все же возникшего конфликта, – не помню совершенно, по какому конфликт был по поводу, наверное, на самом деле что-то незначительное, – я пришел к нему домой, специально ведь пришел, чтобы выяснить отношения, и, не застав, сгоряча оставил ему витиеватую записку. Через два часа он явился ко мне, держа в руках мою филиппику. Причем держа ее двумя пальцами.

– Это что? – спросил он, имея в виду мое воззвание.

– Ну что, что... – объяснил я. – Обидно все-таки...

Бороться с мелочностью, с импульсами и инстинктами было делом всей нашей жизни. Этому мы отдавали, пожалуй, основную часть своего времени. Виделся в этом даже какой-то спортивный интерес. Мы даже обозначение для этой сферы, с какой мы боролись, придумали: «на обывательском уровне», «обывательский уровень», то есть: «уровень обывательского мышления»... Это фраза из «Антидюринга» Энгельса. Точно она там звучала: «на уровне здравого смысла, который противоречит диалектическому взгляду на мир и заслоняет философские построения». То есть противоречит тому философскому сознанию, тому возведенному человеком на неимоверную высоту свойству человеческого мозга, которое в силу своей могущественности позволяет человеку заноситься еще выше и считать себя уже сутью бытия, со всеми вытекающими отсюда последствиями, главное из которых, конечно же, гордыня, но в то же время позволяет человеку в силу этой же гордыни и с высоты его рассудка оценить себя по достоинству: то есть посчитать ничтожностью, всего лишь маленьким сгусточком материи, скорее даже, функцией материи, именно, даже не объектом, не феноменом, не явлением и даже не диалектической какому-то явлению противоположностью, не песчинкой даже, как часто мы поэтически это называем, а всего лишь функцией, исчезающей искоркой в бескрайности вселенной, что и неоспоримо подтверждает главенство правильного диалектического

метода познания окружающего мира, а еще лучше назвать: диалектического материализма, – нелицеприятного, даже убийственного в своей жестокости и невыносимости, трезвого философского взгляда на мир, при котором большинство великих вещей, превозносимых человеческим обществом, как то: любовь, помощь ближнему, желание служить людям, сочувствие, делание добра, достоинство, честь, бескорыстная дружба мужская, высокий смысл человеческой жизни – обесцениваются, достаточно только пристально все это рассмотреть. Бахтин называл подобный акт переоценки культурных ценностей, переворачивания вверх тормашками и умаления их в социуме карнавалом, смехотворчеством, время от времени оборачиванием, для выживания культуры верха в низ в полном соответствии с диалектикой психического человеческого устройства и диалектического развития истории. Но мы эту фразу из «Антидюринга» про уровень здравого смысла упростили и превратили в очень кодовую и значимую для нас: «на уровне обывательского интеллекта».

Или вот еще, мне всегда был в тягость ритуал обхаживания девушек, необходимость вести совершенно несущественные разговоры с ними, с теми, к которым ты почувствовал влечение и с которыми ты обязан почему-то говорить о предметах совсем посторонних твоей главной цели, желанию и намерениям. Так называемый треп. Сразу возникало в уме есенинское: «Как прыщавой курсистке длинноволосый урод говорил о мирах, половой истекая истомою...» А если все же начинал на самом деле говорить с ней о чем-то серьезном, о «духовном», или делал с ней что-то вместе хорошее, доброе, вечное, либо спасал ее, выручал, либо чем-то элементарно помогал, то, наоборот, уже совершенно не мог после этого решиться на попытку перейти с ней на близкие интимные отношения, потому что это значило бы тогда обесценить искренность разговора или поступка. И приятно было осознавать, что при всей своей красивости и к тому же созданности именно для подобных игр, Уваров тоже терпеть не мог трепа, этого ритуала, этой неискренности, этого завуалированного вранья, был сторонником прямоты и честности. И конечно, девушками при

общении с ними это мешало. А он, как в отношениях с друзьями, был грубо прямолинеен, и если ему от тебя требовалось что-то важное, услуга, помощь, он никогда не оказывал тебе предварительную услугу, не запасался доверием, не ставил тебя в положение должника, а, чтобы ты даже не заподозрил его в практичности, приходил к тебе и сразу, рискуя получить отказ, не давая тебе никакого аванса, сразу выкладывал, что ему от тебя нужно. Так и с женщинами он был – и не побоюсь повториться, это приятно было мне осознавать – не особенно удачлив, точнее сказать, на сто процентов свою красоту он не использовал, шансы проплывали мимо из-за того, что он тоже обходился без преамбул, терпеть не мог этого «брачного полета», словесной обработки, не мог выносить ложного упорства, называемого скромностью или, что еще более пошло, воспитанностью, невинностью, торгового момента в отношениях, дескать, ты мне – я тебе, а итоговую часть сделки, сопровождаемую водружением на девушку фаты, вообще зло называл торжественной сдачей дырки в эксплуатацию. Мне это было приятно еще и от того, что подобным несколько сравнивалась наша разница в исходных данных, а так же еще тем, что лишний раз подчеркивалась искренность его поведения, что в своем сознательном, перегруженном рефлексией, с «не обывательским уровнем мышления» подходе к людям и миру он не врет.

И при всем том ведь он был эпикуреец. При всем том, что он ставил на первое место философию и сознание, столько в нем было вальяжности, сибаритства, изящества в жестах, в одних только его сухих запястьях и тонких красивых пальцах, так что порой от рук его нельзя было отвести глаз. Так красив он был со своей бородкой-эспаньолкой, так умел с наслаждением есть и пить и восхищаться женщиной (на словах, только на словах), так в нем кричала, требуя выхода, жажда непосредственности и требующая реализации своего предназначения натура. Когда он пил вино, или даже всего-навсего пиво, в те редкие моменты, когда мы, купив несколько бутылок пива, наконец, позволяли себе это, лицо у него становилось блудливым как у фавна. С каким упоением, с каким наслаждением, как завидно красиво он мог отдаваться удовольствию, так умел

подмечать и ценить мельчайшие детали женской привлекательности, провожать глазами красивую фигурку, так умел отвечать нашей глубоко запрятанной, затаенной мысли: «Что есть жизнь по сравнению только с одним запахом пудры, исходящим от женщины!..». Боже мой, когда у тебя все для этого есть, и данные, и вкус!! Но нет, все только эстетски, только умозрительно...

– Ну что же делать, если меня познавательный инстинкт гложет, ориентировочный рефлекс по Павлову?.. – качал головой он...

И как никто он понимал слова Толстого, те, которые тот говорит в статье про Мопассана, про зубы, которые разрушаются со временем, про то, что мы не вечны, что всех нас одно ждет, про приближающуюся старость... Никто из моих знакомых по молодости лет не обратил бы на это место в опусе Толстого внимания. Только Уваров. И действительно, видеть, как уходит жизнь, словно вода сквозь пальцы, в то время как ты имеешь все данные, чтобы занять в ней место, чтобы иметь в ней успех, и загружать себя какими-то умствованиями, книгами, поисками духовности, как мучительна подобная раздвоенность. И поневоле приобретаешь такую любовь ко всему элементарному и растительному, а все непосредственное возносишь на неподобающему ему недостижимую высоту.

Как в свое время у нас была Оленька – о которой позже я, может быть, еще расскажу – воплощение для нас всего естественного, которая умела есть бутерброд с двумя ломтями колбасы, один бутерброд с двумя ломтям докторской колбасы, то есть, ей мало было положить на хлеб ломтик колбасы, отрезанный и так очень толсто, нет, ей надо было положить на бутерброд второй ломоть, а то и третий... И грудь ее, когда она ходила по дому в одних трусах, была выпукла, чувственна, полна и совершенно изумительной формы! И звали мы ее Подросток... А ведь была студентка философского факультета.

Мы не умели так отдаваться растительности. Это было, конечно, завидное состояние для нас...

Конечно, разве можно было за такую стойкость и мужество Уварова не любить?..

4

Говоря об Уварове, надо еще и иметь в виду и самую главную составляющую его характера: стремясь к осознанию, будучи, как он выражался, одержимым ориентировочным рефлексом, борясь в себе с «обывательским мышлением», задавливая себя желанием объективности и стремясь к Истине, он в то же время прекрасно знал, был убежден на все сто процентов в отсутствии смысла в этом нашем на земле существовании, в том числе и в отсутствии смысла и в этом его стремлении к Истине.

Мы оба с ним были реалистами, и оба честно признавали, отдавали себе отчет в том, что все, чем и для чего мы живем, это тлен и «дуновенье ветра», что существует только смерть, а все мифы об ином бытии и ином существовании не поддаются проверке, не выдерживают критики и все самые высокие, дарующие нам как бы прозрение, объяснения бытия оказываются в конце концов пустышками.

Но для меня все же было облегчение. Я тогда уже вовсю писал, и среди друзей и знакомых слыл талантливым, и сам ощущал в себе это нечто, приносящее мне несравненную радость и придававшее моей жизни какое-то все-таки значение, какой-то все же смысл, и поэтому я, хотя бы иногда, когда мне что-то особенно хорошо удавалось, пусть на короткое время эйфории, мог себе позволить себя обмануть, посчитав это существующее во мне «нечто» принадлежностью именно меня или даже как бы принадлежностью вечности, а значит, мог посчитать это чем-то не бессмысленным, по крайней мере, чем-то, сопряженным с понятием «смысл».

(Хотя в глубине-то самого себя все равно свято берег последние стихи Державина: «Река времен в своем стремленье уносит все дела людей».

И топит в вечности забвенья народы, царства и царей.

А если что и остается чрез звуки лиры и трубы,

То вечности жерлом пожрется,

И общей не уйдет судьбы».

Написанные этим самым почитаемым в его эпоху русским поэтом всего за два дня до смерти).

И хотя рассудком я понимал, что лиры, трубы и талант – это такой же мираж и самообольщение, такая же

суэта, лишь растянутая во времени, и на понятия вечности и смысла жизни не претендующая, все же на инстинктивном, психологическом, по Юнгу, уровне у меня была отдушина.

А вот, у Уварова такой отдушины не было, он не мог себя обмануть, не мог даже испытать надежду на то, что в этой его жизни откроется какой-то смысл. Он, можно так сказать, был целиком брошен в суровый каменный мир материализма, каменные джунгли реализма, одиночества и безнадежности и должен был разбираться со своей безысходностью без всяких иллюзий, самообмана, честно глядя правде в глаза. От ужаса чего мы в свое время – в студенческие годы – оба и бежали в область поиска Истины, чтобы в страницах книг хотя бы на миг забыть и не видеть бессмысленности бытия, чтоб защитить себя, посчитать, отвлекая от страхов, уже только сами эти поиски Истины за смысл. Задним умом все равно предчувствуя, что Истины и тут не будет. Что Истину не суждено найти вообще никогда...

Позже меня мое «творческое нечто», которое я всячески старался понять, осознать, проанализировать и безуспешно какими-то знаковыми реалистическими, материалистическими вещами объяснить, со всеми этими «вдохновениями», прозрениями, интуициями, вещими снами, в конце концов, привело к подозрениям в существовании какой-то высшей силы, (а, значит, все же Бога?), к изучению религии, к мистике, к экспериментам над собой, заключающимся в ограничении себя в удовольствиях, хотя бы ради эксперимента, нащупав тут какую-то связь с «вдохновениями», в смирении в желаниях, в отрешении от страстей, ведению праведного образа жизни и к другим удивительным вещам. Он же, честно осознавая, будучи в этом уверенным, что Бога нет, никаких высших сил нет, чуда нет, свое отрешение от страстей и желаний и свое смирение себя в борьбе с желаниями, и непопозволение себе произвола и вседозволенности осуществлял, руководствуясь какой-то другой причиной и в другой системе координат, мне неведомой. Черпая силу быть стойким из самого себя, не из надежды на царство Божие, не из страха наказания или ожидания воздаяния, да и вообще не из стремления, чтобы это было кем-то или чем-то увидено и оце-



нено, не из подозрений о сопричастности к вечности, а из определенного внутреннего мужества, остаточной абстрактной стойкости. А как еще можно было назвать это в том абсолютном безвыходном беспросветном бессмыслии, в котором мы всегда живем и которое основывается на нашем понимании, что как то, так и другое, как твои личные страсти и желания, чреватые неприятностями и злом другим, так и неделание зла другому, твоё смирение и твои подвиги на стезе добрых дел по отношению к другим – это тоже всего-навсего тлен и суета. Как при понимании подобных вещей такое, как у него, правильное поведение в мире можно еще, кроме мужества, назвать?

Только подвиг...

## 5

Заканчивали мы университет вместе. Он с красным дипломом, а я, увлекшийся поэтическими вольностями, ощущением собственной значимости и собственной неповторимостью, спровоцировавшей меня на подобие даже некоторой борьбы с властями, едва сдал последний дипломный экзамен по научному коммунизму, и вообще был бы завален старшим преподавателем кафедры, выполняющим соответствующее задание, если бы в состав комиссии не входили люди с кафедры литературы, на которой я все-таки ценился, и поэтому диплом я все же получил и был распределен в областную сельскую школу на три года работать учителем.

Уварова же оставили в университете, при кафедре, а я выбрал самую глухую деревню на севере области, – если уж деревня, то в совершенно диких местах, – где изобилие первозданной природы, где край непуганых птиц и воли, идея чего, как и множество моих друзей в детстве, томила меня и во взрослом возрасте. И отправился в деревню даже с радостью, с энтузиазмом, мечтая о жизни непосредственной, о которой тоже думалось не раз.

Как я в этой деревне, на самом севере области, на краю земли, работал? Да, в общем-то никак... Плохо я работал. Я не соизмерил свои силы в воздействии на восьмидесять детей, которые и составляли все количество обучаемых во всех десяти классах школы учеников, и сдулся. Кому нужна была в этом глухом краю история? Если бы я просто читал

им учебник или заставлял на уроках самих его читать, или пересказывал учебник своими словами, как во многом делали учителя, то даже это было бы лучше. Но я ведь из гордости начал что-то там изобретать, экспериментировать, привлекая авангардистские методы подачи материала, новые прочтения исторических текстов, новые веяния в исторической науке, почерпнутые и в вузе, и из дополнительных источников, революционные подходы к выработке научного мировоззрения. Но оказалось, что этого там совершенно не требовалось. Даже среди старшеклассников. И поиски смысла жизни и Истины и весь мой революционный задор в деревне никого не интересовал. И мне стало скучно. А без собственного интереса в работе нести доброе, вечное у меня всегда слабо получалось.

Поэтому я, в основном, увлекся охотой. Как только заканчивалась дневная смена, я заглядывал к себе на квартиру, закидывал ружье на плечо и уходил за поскотину деревни, где начиналась сказочно дикая природа.

Дикая природа там начиналась сразу. Та непосредственная некультуренная природа, именно та непосредственность, которая нас с Уваровым всегда и влекла, и к которой я лично, по своей приверженности с детства ко всякого рода путешествиям и охоте, был ближе, поскольку природу любил, находя на лоне природы и отдохновение от собственной зауми, и от поисков смысла, находя в ней полное расслабление и смирение со всеми неудачами в жизни, смирение со своей ничтожностью, растворяясь в ее красоте и в готовности именно ее и назвать Божеским абсолютом... если бы умом не понимал, что и это «божеское» всего лишь мое эстетически окрашенное восприятие, такое восторженное состояние сознания, какое дает как бы возможность Истину наконец познать, тем не менее, познать истину все равно находящуюся только и именно у меня в мозгу.

Как бы там ни было, прозрачность и теплота осинового леса, листики берез, трепещущие на ветру, запах увядающей травы, каждый день новые детали в жизни леса, новые виды и ландшафты, новая погода, смена времен года. Скажем, вот, ночью сделалось минус пять и вследствие сильного ветра на березах остались одни голые ветви. А утром было

пасмурно, тихо и безветренно, и лед на окраинах озера уже не растаял, и пошла северная утка, и на вечерней заре я убил три лутка. А то через несколько теплых облачных дней и нудно морозящих холодных дождей, в грязь превративших все дороги, после пронзительного ночного ветра опять подморозило, пришло ясное утро, на улице тихо, безветренно, тепло, и в избе тепло, а на земле снаружи, закрыв собою всю грязь во дворе, лежит ровным тонким слоем снег. И на нем отпечатки больших гусиных следов. Выйдешь на двор поколоть дров: как хорошо!

Бураны там наметали сугробы выше крыш и в самых неожиданных местах. С утра дул ветер, во второй половине дня уже не найдешь из школы домой тропу. Или идя по ней, проваливаешься иногда выше валенок, и правило образования всех этих сугробов и не постигнешь, в одних местах по пояс, а в других голая земля. В мороз солнце, садясь к вечеру за горизонт, еще даже не подойдя к нему, делается красным, огромным и садится в синюю дымку.

А в буран на дворе тихо только в уличном туалете. Все там бело. Каждая паутинка, свисающая с почерневших досок потолка, как маленькая гирляндочка, покрыта кристаллами снежинок, по белым стенам искрится снег, и под ногами вокруг дыры белый пушистый девственно чистый ковер.

А на улице сугробы, барханы, и когда едешь в санях с возницей за сеном, слышно как похрустывает под копытами лошади утоптаный на дороге снег.

Мои походы в поле и встречи там с моим же детьми роняли меня в их глазах. Когда они видели меня с ружьем и на лыжах, отношение ко мне становилось неуважительным, снисходительным, запанибратским, а то и вообще как к недоумку, на уроках возникали насмешки в мой адрес, непослушание, неуместные вопросы про охоту, так что я даже вынужден был вести борьбу за тишину, порождавшую обоюдную грубость. И, в конце концов, работу в школе я бросил.

Мы не виделись с Уваровым два года, за это время я успел жениться, от скуки деревенской жизни на первом же году обзаведясь ребенком, моральным долгом и в связи с этим последним какими-то обязанностями и нахождением в этих своих новых обязанностях тоже каких-то

проблесков истины, приобщающих меня к определенной идее. Подпаданием под какой-то вечный закон.

Вот еще одна картина осенней деревни... Вечером часов около восьми приходит с полей стадо. Оно неспешно идет по дороге, по единственной улице села, и у каждого двора с открытыми воротами стоят или сидят на лавочках хозяйки, ожидая каждая свою мычащую и блеющую скотину, глядя навстречу стаду, иногда перекиваясь друг с другом, обмениваясь новостями и сплетнями, пока животные медленно бредут; призывают овец своими особенными, знакомыми им, голосами, пересчитывают скотину и загоняют в хлев. А стадо, все более уменьшаясь в размере, идет по деревне дальше. Такова жизнь.

## Часть вторая

### 1

Еще в самом раннем детстве Уваров сделал для себя вывод, что после каждой радости обязательно следует неминуемая боль. Вот ты обрадовался и заликовал, запрыгал, забегал и тут же обязательно ударился обо что-нибудь коленкой, или мама тебя выдрала за то, что не сделал уроков.

Это была безусловная закономерность.

Я, видимо, разделял эту точку зрения полностью. И отсюда и начались все наши поиски смысла, все наши философские изыскания, которые, возникнув в детстве, продолжались и потом, продолжались, продолжались и так и не могли дойти до своего завершения,

Ради чего жить? Чтобы было радостно? В чем конкретно состоит радость, можно много говорить, спорить, но как бы там ни было, если посчитать радость смыслом жизни, то ведь все радости все равно кончатся болью. Секс расплатой в виде бытовухи, пьянство – похмельем. Роскошь безденежьем, любовь утратой, богатство смертью. Что делать в таком случае, как построить свою жизнь? Или жить ради того, чтобы только не было больно? Этаким буддийский подход? Чтобы не страдать... Сызмальства мы все сталкиваемся с этой дилеммой, с высшим знанием и простой житейской мудростью и на поиск ответа на этот рели-

гиозный вопрос тратим жизнь. Ведь если жить для радости, для наслаждения, если взять этот постулат на вооружение, принять за философию, и невзирая на последующую боль, стремиться только к удовольствиям, то тогда прямой путь к гедонизму, а следом и наркотикам, к этой рафинированной радости, к этой квинтэссенции радости. А что тогда должно тебя сдерживать, что может тогда тебя остановить? Наркотики это же прямой путь к наслаждению, как для крысы вживленный в центр удовольствия электрод, при таком подходе к жизни прием наркотиков должен быть невозбраняемым, естественным, натуральным. Народы всегда в какой-то степени использовали наркотики, алкоголь, а в древних культурах сому, пиво, наделяя, правда, тогда употребление наркотика священным смыслом, а процесс употребления напитка ритуальным священнодействием. Но сами по себе наркотики существовали всегда. А к наркотиком можно причислить даже искусство, влюбленность, езду на автомобиле, увлечения верховой ездой и полетами на самолете, увлечения футболом, рыбалкой, охотой, все, что отвлекает от сермяжной жизни, от необходимости заработков и сварливых жен, от неудач в карьере, горестей и болезней, от реализма и несовершенства мироздания. Наркотики все заменяют, компенсирует. А значит, человек всегда искал, лишь ограничивал употребление (тоже вопрос: зачем?), этой наркотической радости. Уводящей в мир иллюзий, наслаждений и грез. Просто наркотик запрещен обществом, чтобы человек был способен работать, ну и не умер бы раньше конца работоспособного возраста, ну а те, кто может позволить себе не работать, им что может запретить этот путь? Единственное, что может удержать от наркотика, это понимание, что после наркотика следует отходняк, депрессия, похмелье, ломка, ранняя смерть, то есть опять БОЛЬ, та, что всегда после радости, та, что является расплатой за наслаждение. И порой такой расплатой, что зарок даешь – ни капли больше: не пить, не курить, не нюхать, а если посчитать за такой наркотик и секс, то и не любить, не иметь детей, не заводить жену, не обретать привязанности, не суетиться, НЕ ГРЕШИТЬ. Когда так и хочется выбрать путь, чтобы не было боли. Чтобы только убежать от страданий, искоренить жела-

ния И обрести покой... Путь неделания. Дао. Поучения Гаутамы...

Или все же жить для наслаждений?..

Так что же делать? Что выбрать: жить для того, чтобы радость была, а потом боль? Искать радости, заведомо предвидя последующую боль и понимая, что нет боли – нет и радости?

Или жить для того, чтобы не было ни боли, ни радости, и высшую радость, высшее благо, находить в покое?

Наркота прошла мимо нас. Мы все-таки были с ним правильные люди и жили в правильное время. Пить нам было тоже невыносимо, мы умирали в похмелье. Может быть, еще и это повлияло на формирование нашего мировоззрения. Боль для нас была всегда более невыносима, чем радостна радость. От радости мы могли по своей воле отказаться, а от боли, следующей за получением радости, нет. А мы хотели быть свободными.

Я приехал в город. Мы с Уваровым встретились. Вернее, он приехал ко мне домой, потому что я не мог выбраться к нему на встречу, надо было гулять с ребенком. Это была моя обязанность в семье – с ребенком два раза в день гулять.

– Надо же, у П. ребенок! – сказал он, застав меня у подъезда с коляской и захохотал. – Я даже не мог себе представить, что ты будешь так смешно с коляской выглядеть!

И я понял его смех. И ничуть не обиделся. Я же целиком отдавал себе отчет, что нахожусь по другую сторону поучений Гаутамы.

Дочь, увидев бороду Уварова, начала плакать, рыдать, надрываться и закрыла ладошками глаза. И тотчас плакать перестала. И мы с Уваровым, оба сразу увлекшись и вспомнив весь наш былой цинизм, пустились в философствования по поводу реальной жизни и способов уходить от порождаемых ею в нас страхов и представлений.

Я подержал дочь на руках, потом посадил в коляску снова, где она благополучно уснула. Чем дала нам полную свободу продолжить наши разговоры, по которым мы уже достаточно соскучились, два года ведь не видели друг друга.

К ребенку, как бы там ни было, я был привязан крайне сильно, как ни кому и ни к чему в жизни. Как я страдал, когда де-

вочка умерла в трехлетнем возрасте от простого гриппа, надгробным холмиком на кладбище лишней раз доказав истину, что радость не вечна. Что после счастья неизбежно приходит боль.

И вынужденная супружеская жизнь после этого тоже как-то постепенно, рас-сосавшись, закончилась.

## 2

Но жизнь идет.

Вот несколько лет спустя после окончания университета идиллическая картина...

Время летних отпусков. Мы с Уваровым живем в деревенском доме у двух девушек, проходящих в деревне практику после третьего курса университета, не очень знакомых нам, просто у встреченных в деревне студентов нашего же вуза, работавших там в школе, когда Уваров руководил фольклорной экспедицией, состоявшей из студентов филологического факультета и работавших в этой деревне. Уваров тогда был аспирантом кафедры русской литературы, оставленный в университете как выпускник с красным дипломом и читал лекции по Тургеневу и Достоевскому, экспедиция – это была его нагрузка.

Я же год-другой как заделался бродягой, таким хиппарем, окончательно бросил учительствовать в школе, не выработал свои три года и получил в трудовую книжку запись «уволен по статье 33 за прогулы без уважительных причин», что приравнялось тогда к волчьему билету, не дающему уже возможности устроиться на серьезное место, что я, впрочем, делать и не собирался, после смерти моего ребенка да и после расставания с женой, острая надобность в заработке отпала, и я беспланово слонялся по стране, зарабатывая деньги, где придется, на шабашных работах, на стройках и на сельскохозяйственных работах, пребывая в полной заброшенности и одиночестве, просто бичара какой-то, приживала, продолжающий, правда, и писать, и читать, хотя и урывками и бессистемно, то, что попадалось мне у хозяев, у которых я жил, или в читальном зале научно-технических библиотек, куда меня, несмотря на мою нелесную репутацию, еще пускали.

Ночуем тут же, у девушек, мы с Уваровым спим на матрасах на полу. Пока не приехал я, он ночевал со своей группой

студентов в школе, но поскольку меня в школе в качестве гостя нельзя было поселить, а в деревне были девушки, пусть и шапочно, но по университету Уварову знакомые, – да и кто из девушек в университете Уварова не знал! – он договорился с ними и поселил меня к ним, а потом, пристроив меня, за компанию и сам на мое время пребывания в деревне к ним перебрался. Мы жили дружно и весело, девчонки нам готовили, мы добывали продукты, Уваров с утра давал ценные указания своим питомцам и потом был свободен почти весь день. Деревня располагалась на границе тайги, дальше шли бездорожье, болота, лесные озера и хвойная тайга, куда мы нередко ходили все вчетвером за грибами, красивые места до упоения, девушки спали на двуспальном широком диване, мы с Уваровым на матрасах на полу, без всяких с девушками близких контактов. Это у нас исключалось по определению, как со своими студентками. Лето, чудная пора цветения цветов и светлых теплых ночей. У девушек симпатичная обстановка, есть шкаф, проигрыватель, домик на одну комнату и кухню, в котором они уже провели полгода и у которого даже был свой дворик, где я и поставил свой мотоцикл. На этом мотоцикле, если я зарабатывал на какой-нибудь временной работе на бензин денег и если было лето, я ехал куда-нибудь в поля, в неизвестные для меня еще края, где я чувствовал себя свободно, а получалось все дальше в глубь страны. На этот раз я сумел добраться только до Уваровской деревни, находящейся километрах в пятистах от нашего города.

Я лежу ничком на диване, подперев подбородок руками и читаю книгу. Красивый Уваров на стульчике у стены, держа большую общую тетрадь на коленях, занят каким-то отчетом. Бубнит радио. Лена в кухне готовит ужин, наша Оленька-подросток помогает ей, потом приходит в комнату, переключает радио на проигрыватель, на нее никто из нас не обращает никакого внимания, каждый продолжает заниматься своим делом, Уваров пишет, я читаю. Она несколько раз проходится от двери к окну и обратно, открывает створки окна, меняет два раза пластинку, потом прыгает ко мне, лежащему на диване, на спину и, как белье на стиральной доске, оттрепала на моих плечах рубашку. Я от неожиданности даже уронил на пол книгу.

– С ума сошла?

– Нормально, да? – говорит она.

– Нормально, нормально, – говорю я, поднимая с пола том Толстого, – только сумасшедшая.

Оля медленно сползает с моей спины и, еще раз пройдясь по комнате, возвращается назад в кухню.

А мы с Уваровым начинаем говорить.

– Я, конечно, должен был бы испытывать возмущение, что тебя не оформили на работу, – произносит он, – но ты знаешь, у Каргополова такой был вид, когда он осуществил это мероприятие, что я как-то даже его поведением увлекся.

– Ты об отделе кадров?

– Да.

– Не обращай внимания, я уже забыл.

– Нет, тут ведь не только в тебе дело, – поднимает он на меня глаза. – Это ведь уникальная ситуация. Я говорю, вы что не знаете П.? Он кого-то убил, выдал государственную тайну, кого-то предал, совершил клятвопреступление, из-за которого он не может поехать на временную работу со студентами? Ну, участвовал он в каких-то там акциях, в демонстрациях, ну студенчество, что, это так важно? Что, он должен отвечать за это всю жизнь?

– Ну, надо сказать, такое мнение имеет место.

– Тем более, тут ведь неотвечественная работа, временная, полевая, а у меня ставка лаборанта пустует, и лаборант мне нужен, и я имею право на летний сезон взять на работу любого даже на месте, по своему усмотрению. Но, оказывается, стоило только твою фамилию произнести, как все сработало против совершенно четко. Хотя и с оттяжкой в несколько дней.

– Они же там через комитет кандидатуры проводят.

– Да совершенно не должны они через КГБ проводить, было бы слишком глупо подвизывать спецслужбы по таким пустяковым оформленим на временную работу. Причем, для экспедиции они не должны были ни с кем ничего согласовывать в принципе, все делается под ответственность начальника, под мою, в данном случае, это же просто сезонный договор, КГБ к этому никакого отношения не имеет. Это именно Каргополова инициатива.

– Ну, не расстраивайся, для меня, видимо, стало иметь значение все. Как

только о себе напомним, сразу все так и получается.

– Я думаю, что Каргополов даже какими-то высокими принципами руководствовался.

– Ты знаешь, – начинаю я рассказывать о своих полученных ощущениях, – для меня теперь отдел кадров, это то окошечко в жизнь, в котором тебе постоянно дают мордой об стол, напоминая, что ты от жизни отлучен. Это любопытное ощущение, поначалу даже жуткое. В свое время я испытывал страх, просто ужас, и все делал лишь бы не подходить к этому окошку.

– На уровне инстинкта?

– Да, можно сказать условный рефлекс. Мы ведь воспитываемся в достаточно комфортных условиях, сначала отец с матерью, – я посмотрел на Уварова и вспомнил, что отца у него давно нет, или не было, и добавил: – всякие, любящие и нелюбящие, но тем не менее, заботящиеся, или обязанные заботиться, а потом государство берет на себя эти же функции заботы, и ты в брошенном положении никогда не остаешься. Тебя всегда подберут и всегда дадут работу по твоим способностям и возможностям, и от одиночества ты застрахован.

– Пока ты не залетел.

– Да, именно, пока не натворил чего-нибудь. Кстати, вышедшие из тюрьмы, по-моему, тоже в таком же положении.

– Это ты уже, наверное, Солженицына начитался.

– Ну не знаю, но мне так кажется... Первый раз в жизни на меня напал такой ужас. Даже когда я в свое время получил двойку на выпускном экзамене в школе по литературе, это не шло в сравнение, хотя тогда я с подобным соприкоснулся впервые, горела вся моя спокойная размеренная благополучная жизнь. Первый раз за одиннадцать лет учебы в школе я столкнулся с непредсказуемостью и враждебным миром, с необходимостью самому начинать делать выбор, самому что-то решать, я катастрофически оказался один на один с открытым космосом. Два дня всего я это испытывал, после чего мне разрешили сочинение с другим классом переписать, учителям совершенно не нужна была какая-то «политика» в отчетах, попросили только не брать свободную тему, я выбрал Маяковского, и написал уже сносно, хотя тоже много чего накуролесил, на



три все же годилось, но уж запомнил провал на всю жизнь. А тут вот после десяти лет отсрочки, повторилось то же самое, только в своей полноте и уже без счастливого исхода. И это ощущение ужаса сделалось дежурным состоянием. Спасения ждать неоткуда. Понятно, к такому привыкаешь, начинаешь жить другой жизнью, приспосабливаешься, но отдела кадров, откуда все это идет, боишься все равно. Я милиции, как всех официальных органов, даже стал бояться. А родного вуза отдела кадров в первую очередь. Я и предполагал, что так будет, как это ни привычно, но когда бьют по одному и тому же месту, все же испытываешь боль. Ты меня убедил, что надо попробовать, и я согласился.

– Знаешь, Каргополова наблюдать в данной ситуации было не менее интересно, – продолжает Уваров, – он ведь на самом деле не из корыстных соображений это делал, и не то, что тебя не любит и считает за какого-то злодея, врага, или не хочет, чтобы ты получил за месяц работы какие-нибудь девяносто рублей, у него нет личных мотивов. Даже подлость тут не просматривается. Нет тут подлости. Бдительность. Это такая штука, в которую нам с тобой не проникнуть никогда. Это у них отложилось от своего времени, и что-то тут сакральное есть. Что-то inferнальное. Какая-то тайна. Ведь ладно, вырос он в то время, когда доносить было принято, но сейчас-то что? Но он продолжает быть носителем традиции.

– Знаешь, самое значимое в этот момент, когда тебе возвращают на руки твою трудовую книжку, – продолжаю я свое – всегда одно и то же чувство. Вот этот факт возврата, неприема ее, возврата после долгого, в течение нескольких дней, ее там у них нахождения, это еще тоже должно быть заранее продумано, да еще с особенным выражением лица зав отдела кадров – у них ведь еще и выражение лиц у всех в этот момент специфическое – это как будто ты слышишь сопровождающие слова: тебя нет, ты отсутствуешь в жизни, ты пустота, инкуб, черная дыра, можешь идти и утопиться.

– Как у Кафки.

– Да, пожалуй, как в его «Замке».

– Или в «Превращении».

– И в то же время, я должен признаться, есть свой плюс. Когда ты первый раз сталкиваешься со свободой и вывали-

ваешься за черту. Как ни удивительно, ты становишься волен. Ты наедине с космосом, с бескрайностью. А это всегда вызывает страх – но и восторг в то же время. На самом деле не будь этого моего остракизма, я бы многого не понял. Ведь как на все взглянуть... Испытываешь именно и страх, и восторг. Страшит именно свобода. Хотя мы так всегда боремся за нее, к ней стремимся, но она и пугает больше всего на свете, потому что она – это смерть, это ты выпал из социума как в безвоздушное пространство, и сам ты к ней не идешь, ты ждешь, когда тебя невольно туда вытолкнут. Как в холодную воду. И ты раскрываешься и начинается жизнь в другом измерении, таким Божьим промыслом. Смирением, именно смирением. А, в конечном счете, все это дает ощущение какого-то космического полета. У Толстого, например, помнишь, прорыв окровений произошел – как ни странно, не в Севастополе вблизи ядер и пуль, рядом с угрозой насильственной смерти, этого не было в такой силе, он был, видимо, молод, не было привязанностей и там была рулетка, попадут, не попадут – а когда он во вполне счастливой и размеренной и прекрасно складывающейся жизни вдруг почувствовал смертельную болезнь, от чего его понесло куда-то на кумыс, и когда понял, что конец неотвратим – это в 50 лет, вот тогда у него и съехала крыша. И написал свои гениальные «Смерть Ивана Ильича» и «Исповедь».

– Ты хочешь сказать, что все наши мировоззрения и открытия в полной зависимости от состояния нашего организма? Это по Вернадскому. Ты еще «Крейцерову сонату» забыл...

– Да, в ней как раз в точности описаны эти ощущения. В момент, когда человек первый раз сталкивается с разрушением завтрашнего дня, с тем, что завтрашнего дня для него нет, с безысходностью – какие же откровения ему даются в этот миг, это по Толстому вполне судить можно! И чем ужаснее, тем больше прорыва, как у Достоевского. А поскольку и я теперь все измеряю наполняемостью своей записной книжки, потому что это единственное, что мне осталось радостного в жизни, то критерий этой радости у меня стал один: объем записанного. Так вот, ты не поверишь, в момент, когда и я тоже забрасываю себя в бега, забрасываю далеко от заведенного привычного образа

жизни, будто из мазохизма, без денег и цели куда-нибудь на другой конец земли, в полнейший мрак и совершеннейшее безумие одиночества, без денег, связей, знакомых, в начало совершенно новой пугающей жизни, лишь только с новыми экзотическими красотами природы вокруг, то не поверишь, и моя скромненькая книжка начинает просто пухнуть. А потом перечитываешь, и осознаешь, что сам ты так написать не смог бы. Придумать такое был бы не в состоянии. Это тебе просто даруется.

Подобные мои восторги по поводу писательства всегда вызывали у Уварова завистливую искорку в глазах, такую же, какую у меня вызывали его редкие, но все же случавшиеся рассказы о женщинах. Мы, понимая эту обоюдную зависть к жизни друг друга, не часто заводили разговор о своих преимуществах, лишь когда требовалось описать процесс или как-то себя ободрить. Наверное, именно поэтому я и пустился в пространные объяснения, слишком он завел болезненный разговор.

Уваров отвел глаза, но, тем не менее, остался на уровне нашего «необывательского мышления», перейдя на обобщения:

– Ты хочешь сказать, что чем человеку хуже, тем больше ему даруется?..

– Именно.

– А знаешь, – воодушевляется он, – когда внимательно разбираешь Толстого, начинаешь замечать, что ему особенно много даруется, когда он находится в состоянии наития, спонтанности, так сказать. Толстой всегда особенно художественен именно в своих записных книжках, в том, что писал не раздумывая, интуитивно. Например, вот недавно откопал прекрасные слова о том, что «жить надо всегда так, как будто рядом в комнате умирает любимый ребенок».

Он даже не посмотрел на меня. Как будто и не находил нужным как-то напрягаться и меня щадить. Предполагая, что я могу быть выше этого. И я это понял. И хотя я, конечно, вспомнил о своей дочери, но остался, как он молчаливо и призывал, выше.

– Это я знаю. Записная книжка девяносто пятого года. И написано в тот момент, когда на самом деле умирал его младший ребенок, самый любимый им, – сказал я, – к которому он больше всего был привязан. И он только дожидался

конца, ежедневно глядя на угасание.

– И это болезненное стеклянное состояние он и обозначил самым правильным и нужным в мире. А то мы ведь забываем эту боль... Так вот я про его записную книжку... В книжке есть места совершенно отличные, например вот: «Часто бываешь строг к людям, а он, бедный, ни на что не годен...» Или, вот, еще: «Если только хорошо помнить свою смерть, то никак не станешь служить смертному себе, а будешь служить не смертному Богу, от которого пришел и к которому идешь». Правда, ведь хорошо? Или вот еще: «Любовь к своему «я» в известных пределах пространства и времени и есть то, что мы называем жизнью», согласись!.. И в то же время смотри, как он все сам и портит.

Он взял у меня из рук книгу и нашел нужное место.

– Вот он уже написал в другом томе в записной книжке эти слова об умирающем ребенке и о том, что надо жить именно в таком состоянии, но перенося утром ночные записи из записной книжки в дневник, вот, смотри, 12.03.1895 года, он, как бы улучшая и обрабатывая эту фразу, данную ему по наитию, как озарение, добавляет к ней еще одну мысль, поскольку прежней, несмотря на умирающего ребенка, уже пресытился, и, как бы разъясняя, извлекает еще интеллектуальное удовлетворение от работы своего мозга и дополняет: «жить надо всегда так, как будто рядом в комнате умирает любимый ребенок... Ребенок и умирает всегда. Умираю и я сам». Правильные слова. Ничего не скажешь. И по теме добавлено. Но зачем? Сразу видно, что идет от ума. Ведь все сразу перегрузил и испортил.

– Ты это из своей диссертации озвучиваешь? – спросил я.

Уваров замялся. Он на самом деле занимался как раз в то время Толстым, и книга, что я читал только что, тоже была его, и похоже, что он на самом деле писал диссертацию.

– А что разве неинтересно? Истоки творчества. Это наводит на определенные мысли.

– Насчет озарений?

– Да по поводу наития. Откуда-то появляются фразы. А потом человек, умствуя, их портит.

В окно влетает молодой, учащийся летать воробей и садится на подокон-

ник. Мы некоторое время следим за его прыжками и суетливыми движениями. Наконец воробей перепархивает в кусты.

– Что до Толстого, – наконец говорю я. – То его избыточные толкования от его гордыни. Ведь он гений, он же Толстой, он несет людям истину, и что там какие-то слова, данные ему, как ты говоришь, по наитию, он считает, что умом он достигнет гораздо больших результатов и принесет гораздо больше пользы.

– А, знаешь, есть еще вариант. Как раз про пользу, – Уваров возвращает мне книгу и складывает руки на тетради. Явно чувствуется, что он на мне собирается прокатать отработанную мысль. – Он понимает в совершенстве, что он на самом деле гений. И это-то и мешает. Он спешит делать. Еще не до конца познав и не уяснив полностью истину, к которой всю жизнь стремился сам, находясь, только, так сказать, на пути к ней, он уже старается все равно что-то сделать, старается учить, потому что знает, дар слова и учительства у него есть, у него это получается, и от него учительства ждут, и спешит учить тому, чего уже достиг. А достиг он, конечно, многого, гораздо большего, чем другие, и поэтому ему есть, что людям сказать. И торопится. Понимаешь? К тому же во второй половине жизни, в тот период, за который его вечно долбят как престарелого морализатора, постника, ханжу и сумасшедшего, он находился в еще более трудном положении из-за понимания, что все, что он ни делает, суета, и его гениальность, и его творчество, и книги, и искусство, все суета, – он это так стал осознавать – все это лишь игра ума и словоблудие, близкое, как он делает вывод, к рукоблудию, и поэтому он находился в постоянном противоречии. Понимая, что творчество нечто постыдное, греховное, приносящее наслаждение, он понимает в то же время, что он обязан, раз он может использовать его для наставления других, обязан употреблять его с пользой. Обязан заставлять свой дар работать. Чтобы компенсировать наслаждение, следует приносить пользу. Он ощущал себя уже заложником своего дара. И отсюда весь его примитивизм и морализаторство. И как часто говорят еще, двуличие, юродство.

– И, тем не менее, самый лучший из последних его морализаторских рассказов тот, – отвечаю я, – когда он забывает эту свою гордыню и стрем-

ление наставлять и приносить пользу, увлекается суетным, «художественным» и делает рассказ, который вызывает в людях катарсис, художественный катарсис, художественное умиление, я о его рассказе «Нечаянно» говорю, который просто принуждает задуматься и расплакаться, а применен всего-навсего суетный словоблудный художественный литературный прием параллелизма, но от этого видимость наставлений исчезает, остается правда, совершенно очаровательнейшая, невинная и безысходная. Мудрее не придумаешь. Рассказ просто гениальный. А он его даже в собрание сочинений не включил...

– Насчет гордыни я готов согласиться, не буду спорить, – продолжает Уваров свое из диссертации, – страсть к учительству в нем всегда присутствовала, и школу он сделал, и учебники писал, и в тексты поучения всаживал, и даже в молодости, бросившись назад к природе а ля Руссо и решив в Швейцарии уйти в горы, неосознанно берет с собой маленького мальчика, «для того, чтобы о нем заботиться», уши социального учительства проглядывают везде, это уже психология характера, от которой не уйти. А ведь ценил Вивекананду, переписывался с Ганди, открыл для себя восточную философию, буддизм, восторгался их неделанием и стремлением только к совершенству, сам всю жизнь стремился к совершенству, вывернул всего себя в дневниках наизнанку, с детства принуждал себя быть лучше, лучше и только лучше, к концу жизни исповедовал непротivление злу насилем, исповедовал неделание, и, тем не менее, всегда попадался на обывательском мышлении. На социальности. На том же суетном. На стремлении к деятельности и пользе. Осознать, что любое искусство это суета и грех, это только он мог, настолько смело было это заключение, ведь он сам писатель, а то, что в несении пользы им руководит то же элементарное обывательское стремление к деяниям и к социальности почему-то был не в состоянии. Почему он, гениальный, не осознал свой менторский характер, уму непостижимо. Может, менторство это свойство любого писателя? Страсть учить людей? Иначе бы человек ничего и не писал? Как Гоголь со вторым томом «Мертвых душ», брал бы и сжигал все им написанное?

– Ты забываешь про рукоблудие. Про писательство им сказано очень точно. Писатели это рукоблудие преодолеть не могут, и поэтому все равно пишут, хотя бы и в стол. И еще нельзя забывать про гордыню, про то, что они чувствуют в глубине себя всегда, осознавая свою принадлежность, как они это называют, к «вечности», чем они все равно, не смотря на весь их ум, тайно гордятся, некую свою значимость. Об этом не надо забывать, хотя сами они об этом не распространяются, стесняются. Но это нельзя не учитывать, – и тут я рад был поделиться с Уваровым мыслью, которая никогда бы не пришла ему в голову в силу того, что сам он с писательством большой связи не имел. – Я знаю писателя, который свою гордыню умудрился смирить.

– Это ты про кого?

– Ты его, конечно, не признаешь. Ты его таким не считаешь, потому что он, как говорят, всего-навсего рассказики о природе писал.

– Кто это?

– Я уверен, что ты даже и не читал его толком.

– Да говори, о ком речь.

– Это Пришвин.

– Ну, знаешь, я думал ты серьезно.

– Ну вот, я же знал. Его никто в серьез не принимает, кроме мракобесных природолюбков, затворившихся в деревне и имеющих единственную отдушину – это охоту... Конечно, никто из умной, продвинутой и осознающей себя цивилизованной публики его таковым не сочтет. Ведь только заумные эксперименты ценятся. А он не только исключительно о природе писал, он еще был консервативен и о человечестве судил только как о явлении природы только на уровне явлений природы, как упомянутый тобой Вернадский. Кстати, на уровне той как раз той природы, возвратиться к какой Руссо и призывал, и к какой Толстой только стремился, но попасть в которую, остаться в ней, так и не смог в силу своей гордыни и непреодолимой социальности. Конечно, чтобы любить и понимать Пришвина надо природу любить беззаветно, а не только теоретически, а ля Руссо, о ней рассуждать. Надо жить ею, жить в ней, и кроме нее уже ничего и не видеть. Любить непосредственно натуру. Быть язычником. Но ты ведь не охотник, не рыбак, не грибник, не турист, и даже не

сентиментальный любитель пейзажей, тебе даже представить это трудно. Ты вон даже на комаров в лесу с баллоном «Дэты» бросаешься, как самый последний дачник, и одному в лесу, в отличие от Пришвина, тебе вообще не выжить. Мы, как испорченные цивилизацией люди, по большей части только умозрительно можем природу любить. Иначе ведь надо действительно Природу поставить выше всего в мире. И нас самих, в частности. А в нашем христианском европейском цивилизованном мире такое невозможно. Для нас язычниками быть предосудительно. А вот Пришвин как раз язычник и есть. Так вот у него, соглашусь, не столь гениального, как Толстой, и не столь известного по всему миру, истины все же больше в силу его смирения. Именно пресловутого христианского смирения. Он не стремится делать добро и пользу, он просто воспевает окружающую а ля Руссо жизнь, природу, славит, если сказать старыми словами, Бога. Своего языческого бога. А другими словами Бога вообще. Создателя. И этим и приносит пользу. И потому и смиренен, и потому и ближе к истине. Он, смог вот даже из этих отрывочных записей, о которых ты заговорил, которые даруются озарением и интуицией, сделать художественный метод, какой потом многие писатели охотно стали использовать, научившись создавать великолепные мозаичные повести из подобных необработанных фрагментов, из фрагментов именно необработанных умом, данных на уровне интуиции и сведенных в цельные произведения, образующие собственную структуру, интригу и сюжет. И назвали это, иначе и не могли, очередным модернизмом. А сделал Пришвин все это за счет того, что однажды справился со своей гордыней, утихомирил претензии своего христианского, ориентированного на человеческую исключительность интеллекта, смирился с тем, что он всего лишь слабое орудие записи приходящих ему по наитию слов и мыслей.

И я тоже привел цитату по памяти:

– «На берегу, – как примерно он пишет, – на пенек сядешь и вдруг забудешься, и душа, как стрекоза голубая, летает низко над волнами, над травами и цветами. Тогда, если взять книжку и быстро записывать, то нужно только успевать записывать, и все потом это годится...»

Скажи?..

Опять возвращается Оля. Ей наш разговор совершенно неинтересен. За окном солнце, лето, птицы поют, такие запахи трав ветер в комнату задувает! Она только что пришла с улицы и опять ищет способ, чтобы мы обратили на нее внимание. И в большей степени, как я понимаю это, чтобы именно красивый Уваров обратил на нее внимание, что совершенно естественно. Но он из мужской солидарности со мной, не желая провоцировать ревность и возбуждать соперничество, не дает ей никаких авансов. И готов продолжать наш прерванный разговор... Но Оля ходит между нами, просто уже раскачиваясь всем телом.

Боже мой, как я томительно люблю этот мир! Ту непосредственность, что мне не дана. Вот то, что в данный момент происходит. То, чем занимается, например, Уваров, составляя планы фольклорных опросов для своих студентов, и от чего я отлучен уже навсегда, мне студентов не доверяют, или высказывая идеи из своей готовящейся к защите диссертации, которую мне тоже никогда не написать, даже если и напишу, все останется в столе или на полке. Так что вопрос, надо ли начинать, даже и не рассматривается. Или лето с пением птиц и запахом трав, что сейчас происходит на улице за окном и тянет к себе, в то время как мы не идем и томимся, и занимаем себя упражнениями в умствованиях, и то, что Оленька-подросток полна желания и непосредственности, и то, как она демонстрирует нам это...

Как я завидую всему этому и люблю...

Стоит парочка в ночи, обнимаются со всей естественностью, или обнявшись проходят мимо тебя... Как я завидую им и как люблю, потому что таким мне никогда не быть, на их месте непосредственным никогда не быть, я могу смотреть на такое только со стороны. Таким может быть, если, конечно, позволит себе, тот же Уваров. Потому что он-то в отличие от меня создан для подобного... И я его за это и люблю, перенося свое чувство неадекватности мне или необретенности мною на него, как я всегда чужие жизни люблю. Как чужие профессии люблю, люблю мастеров своего дела, обладающих высшими знаниями в области науки или искусства, отменных рукоделов, людей высокого уровня профессионализма, хоть плотника, хоть слесаря, хоть авто-

механика, с восхищением и без конца могу смотреть как у них ловко из под рук выходит готовая деталь, завидую начитанности академиков, эрудиции ученых, знаниям полиглотов, таланту состоявшихся изобретателей, актеров... Да вот даже катер или баржа по реке плывут, и я завидую команде на ней, которая дружно работает и живет одной семьей, у них там отдельный мир, своя специфика работы, свои отношения, своя жизнь, а я остаюсь стоять на берегу, причем, всегда стою на берегу. Так складывается судьба. Я не вхожу ни в один из этих миров, ни в одну группу, ни в один цех, не состою ни с кем в особых профессиональных отношениях, я не умею ничего из высших проявлений мастерства делать. Всю жизнь не умею ничего толком. Ничего не знаю глубоко, основательно и в совершенстве, все только поверхностно, верхоглядно, урывочно и бессистемно. Я ничто. Никчемник, пустое место. Я могу только смотреть и завидовать. И любить. И на сублимации этой зависти стараться сделать художественный текст, пронизанный этой же завистью и любовью. И то еще неизвестно насколько удачно. А уж как я люблю красоту! Вот с чем мне пришлось бороться после университета. После того как мы с Уваровым бросились в жизнь. Причем, из жадности в жизнь для каждого ему несвойственную. Я в погоню за красотой, а он в бродяжничество.

Через неделю, когда я вернулся уже домой, попутно отвезя в город на мотоцикле по ее домашним делам Лену, одну из девушек, я, помня о том, что в деревне осталась Оленька одна, вернулся на другой день к ночи в деревню опять, и на самом деле застал Оленьку одну. И взял ее.

А потом мы сидели ночью в одних рубашках на кухне и ели привезенную мною в деревню любимую Оленькой докторскую колбасу, и Оля еще, смеясь, и возвращая меня на землю, говорила:

– А что, думаешь, ты так же симпатично выглядишь, когда уминаешь два ломтя колбасы за обе щеки?

### 3

А потом, утром мы, сходяв в школу за Уваровым, поехали на мотоцикле купаться на озеро, лесное озеро с темным дном, в которое уходишь как в бездну. Оля, голая, привлекла мое внимание красным пятном внизу спины на по-



звоночнике, это у нее так проявилось последствие наших упражнений, когда мы что-то вытворяли ночью, какую-то, можно уже сказать, акробатику, и она изображала из себя страстную и очень опытную и так старалась, что даже на мгновение ущемила нерв в позвоночнике. Но оба мы обошли стороной эту тему, потому что тут был Уваров, и она не хотела, чтобы я торжествовал свое преимущество. Я и не торжествовал, даже вида не подавал, хотя мельком заметил ей о пятне, выказав беспокойство, от чего она отмахнулась нетерпеливо, поскольку это как-то отделяло нас с ней от Уварова и создавало уже определенную недоговоренность и тайну. А она этой нашей с ней тайны не хотела. Наша с ней отдельностью ей очень не нравилась. Она еще осталась очень недовольна.

Но у нас с Уваровым все равно потом начался некоторая борьба, мы не смогли ее избежать. У меня это проходило как крик моей неудовлетворенной души и страсти к телу, Оленька была красива, раскованна, завидно непосредственна, чего мне недоставало, и любила Уварова. И завлечь ее еще раз к себе в постель уже в городе, когда мы все туда вернулись, девочки на каникулы, Уваров на работу, я из-за отсутствия денег на бензин вернулся для заработков, завлечь ее к себе еще раз для меня сделалось большой проблемой. Большой трудностью. А Уваров, прежде чем совершить побег в бродяжничество, пользовался предоставленной ему университетом, как аспиранту, комнатой общежития, в которую он мгновенно от своей матери съехал, и использовал ее для возможности перебрать всех девушек, какие когда-то испытали к нему симпатию, и пустился во все тяжкие. И студентки, и преподавательницы в университете, и бывшие выпускницы, постоянно с ним в комнате кто-то жил. Хотя, если бы не я, он бы мимо Оленьки прошел и ее бы в свой гарем не включил. Тем более, что я основания для соперничества ему не давал, ревности не вызывал, о наших с ней отношениях не говорил, и даже не намекал о них, поскольку выполнял желание, вернее, молчаливую просьбу, даже мольбу Оленьки, о нашей связи Уварову не говорить. Я эту мольбу читал по ее лицу. И как это ни было обидно для меня, но мимо желания человека я не мог пройти, тем более, что этот человек

отдал мне однажды свое роскошное тело. И я Оленьку Уварову вручил, я ему о ней сообщил... Рассказал о том, как она становится глубоко задумчивой только при одном упоминании его имени. Присватал, так сказать. После нашего возвращения из деревни и моих безуспешных встреч с Оленькой, которые уже крайне редко заканчивались постелью, хотя и не избегались ею, потому что мы с Уваровым были неразлучные друзья, я для него самый близкий друг, а значит, когда она находилась со мной, она как бы к нему становилась ближе – я все это читал по ее лицу. И я, хотя у него была тогда очередная девушка, не преминул про Оленьку ему рассказать. И мало того, видя его нерешительность в том, как с ней определиться, как поступить, даже ее к нему привел. Вернее, свел их, то ли в кино мы сходили все вместе, то ли в кафе... а потом, сославшись на дела, я оставил их вдвоем.

И потом, когда он мне начал рассказывать о косметическом операционном шве, который оставили какие-то коновалы, делая ей операцию по внематочной беременности, случившейся у нее за год до нас, когда он возмущался тем, что делается у нас в стране с женской красотой, я изображал на лице, что это для меня новость, он мне и рассказывал только потому, что я был как бы зачинщиком этого мероприятия, и он поэтому должен был перед мной, вроде, отчитаться. Поскольку все это было как-то даже наше общее.

Кстати, позже, чтобы не наносить ущерба нашей дружбе, избежать воинственного соперничества и психологических травм, я высказал предложение, чтобы это все на самом деле нашим общим и стало.

И впоследствии все на самом деле таким и сделалось.

Правда, этот наш роман втроем длился недолго. Потому что Уваров бросил аспирантуру и тоже подался в бега. Повторять уже то, о чем мы с ним говорили неоднократно и познаниями в чем я обладал в известной степени. А мне без него Оленька стала неинтересна.

Он в бега, а я увлекся какой-то очередной оставленной им красавицей, к которой подползал трусливо и на основе всех своих комплексов. А вернее, не подползал, трусил и считал, что мне ее не за-

получить, и упивался самоуничижением. Чему и отдал полгода жизни.

4

Расставшись с Уваровым после его решения отправиться в «бега», мы встретились с ним уже только в Москве, где началась наша с ним вторая половина жизни.

Но первым из нас в Москву все же переехал жить Боря. Он и меня там принимал на некоторое время, когда я год от года наезжал в Москву по своему обыкновению дикарем ради посещения театров и художественных выставок.

И с Уваровым мы не виделись, считай, лет пять.

Хотя надо сначала определить то, что мы с Уваровым уяснили для себя под конец истории с Оленькой. Перед тем как расстаться на этот долгий срок. Под конец я хвастливо сказал, что Уваров заразил меня своим простатитом. Это была выдумка, конечно, уж простатит-то через женщину никак не передается, но, тем не менее, мне приятно было ему такое сказать. Таилась в этом какая-то близость.

– И вообще, я любил и Оленьку, и тебя, когда вы вместе. Ты вот это даже не прочувствуешь, как так можно любить, но вы пара, а я на таком всегда попадаюсь и всегда взираю с восхищением, завистью и томлением. И люблю обоих. И насколько я понял, Оленька вообще была только предлог, только средство между нами, – добавил я, – просто, я так думаю, что в подсознании у меня цель была совсем другая.

– Цель чего?

– Близости. Я так думаю. Именно близости, – добавил я.

– С кем?

– Ну, не с ней же, – откровенно высказался я.

– Ты таким образом хочешь объяснить мне в любви, что ли? – спросил он, поднимая на меня глаза.

– Да я уже и объяснился...

Уваров не ответил и больше мы на эту тему не говорили. Но эта наша крайняя степень близости в дружбе довела нас до совершенно безумной степени исповедальности, и мы рассказали друг другу такое, о чем даже сами себе никогда не решались признаться.

– Запомни, – объявил я ему однажды, – я трус. Изображаю из себя этакого

отчаянного путешественника, бродягу, революционера. Но вспомни, как я тебе рассказывал в университете, что в общезжитии не смог взять девушку, которая мне нравилась, я еще тебе наобъяснял по этому поводу с три короба. Что не смог, потому что мы с ней были друзья, и я не мог переступить через это. А на самом деле струсил! Всегда трушу. Признаюсь тебе, что все эти как бы духовности, которые я изобретаю на основе этой своей трусости, что, мол, де, этим можно девушку обидеть, что, дескать, мне надо творчеством заниматься, а секс подождет, иначе либидо растрачивается, и нечем будет писать, что оставляю это на потом, не уйдет, и еще какой-то бред, – все это отмазка, это все самоутешения, всегда себя утешаю, что духовное главное, и что еще не конец жизни, а на самом деле трус, трус и трус. Зелен виноград, потому что достать не могу. Так что ты запомни, я потом открещусь от этого признания, просто у меня на днях опять было повторение, и свежа еще досада на самого себя, потом сам решу опять, что это не главное, что это все пустяки, сумею убедить и себя, что все не так страшно, и тебе объясню, что пошутил со своим признанием, но ты запомни, ты не забывай моего признания, и когда я открещусь, мне не верь, правду я говорю именно сейчас: я трус. Все у меня не от духовности, не из-за высоких соображений, а от трусости. Все что ни делаю, все эти отчаянные новые образы жизни, все эти подвиги, все смелые заявления – все это только бегство от красоты, от носителя красоты, от необходимости этой красоты добиваться. И чем она, носительница красоты, попадает красивее, тем мне страшнее, я даже познакомиться с такой не могу. Трус. Боюсь, что мне откажут, и не подхожу, всегда пугаюсь. Просто тряпка.

А Уваров признался мне, что он не умный... Не помню с чего, но какой-то был для этого повод.

– Как же так? – удивился я. – Мы же все читали вместе. Вон у тебя «Критика чистого разума» лежит, я уж про диссертацию твою не говорю.

– Да вот читали, и Кант лежит тоже, и читаю, но потом после прочтения все рассыпается, и, в сущности, понять ничего не могу.

Я промолчал. Я даже не нашелся, что ответить. Первый раз с ним я решил

прибегнуть к деликатности. Слишком голое было место, без кожи, голое мясо, можно сказать, или голое мозговое вещество... И тут даже ни ободрить, ни поддержать нельзя. Ни опровергнуть. Это ведь все идет от самоощущения. Тем более, что я это тоже прошел, сам испытал на себе, тоже страдал тупостью, штудировал, заставлял себя перечитывать тексты по несколько раз, строил себя, и только как раз год-другой до этого его признания я вдруг со всем этим ужасом распрощался, испытал облегчение и осознав, что, наконец, понимаю все. И что мне при желании все может быть доступно. Все это произошло незаметно, но в какой-то очень короткий срок. И я толком даже не понял, каким образом. Я вдруг включился в какую-то систему, обнаружил для себя ключ. Код. То ли я набрался наконец достаточно обрывочных знаний, и у меня случился какой-то переход, как говорят, прорыв из количества в качество, что маловероятно, то ли основой этого прозрения был какой-то, уже не смогу вспомнить, какой точно, религиозный текст, или несколько текстов, я начал тогда как раз изучать основы религий, но я вдруг четко прочувствовал, что включился в какую-то мировую интеллектуальную систему координат, о которой до этого я не знал, нашел некую потайную дверь, и мне понятны стали все идеи на свете. После чего я стал в состоянии не только впитывать знания, но и относиться к ним даже критически, соотносить их с чем-то внутренним, иметь смелость им что-то противопоставлять. Я мог что-то уже не читать больше, какому-нибудь автору только в сокращении или о нем в аннотации, если считал, что эта идея мной освоена или мне это не нужно, что эти знания для меня избыточны. Но я уже знал, что отправляясь в дебри отвлеченного мышления из мышления обывательского, самое главное это потратить время и освоить терминологию новой философии, и все, дверь после этого открывается как при слове «сезам». Даже самую хитроумную теорию можно освоить, лишь уяснив ее инструментарий. Любую теорию, любое направление, даже тебе не близкое. Только напрячься, и оно будет во мне, займет в мозгу какое-то определенное место, определенную полочку. Если это, опять же, мне нужно. Я осознал тогда универсум. Каким-то путем это ко мне пришло. Я не смог бы

объяснить, как. Но мне стало жить легче. По крайней мере, от этого ученического комплекса тупоголового школьника я освободился.

Поэтому-то я испытал к Уварову искреннее сочувствие, жалость даже. Я даже погладил его по голове. Как маленького мальчика.

– Ты молодец, – только и сказал как бы из сострадания и из одобрения его смелости в признании, которая как раз и должна была привести его все равно к тому же, к чему пришел и я, к чему приводит именно настойчивость, к чему ведут именно преодоление себя и честные себе признания. Они не могли не привести. Но сказать, объяснить ему этого, я не мог, не сумел бы.

– И насчет женщин – я тоже с комплексом, – добавил он.

– Ты с комплексом?

– Не верится?

– Ты такие вещи говоришь... Красивый Уваров с комплексом. Ухотаться можно. Можно, я это кому-нибудь расскажу?

– Можешь говорить, кому угодно.

– Ты хочешь сказать, что трусишь?

– Конечно, приходится себя преодолевать.

– Как это?

– Ну, есть женщины, которых я боюсь тоже. Это как раз те, к которым больше всего и влечет. Те, которые содержательные, духовные, умные.

– Ты меня поражаешь.

– Ничего не поделаешь, все одинаковы.

– А нам-то, остальным, что прикажешь делать в таком случае, вообще вешаться, что ли?

– Это уж я не знаю, – доставляя хоть этим сухим остатком себе удовлетворение, ответил он.

Эта наша исповедальность привела и к признаниям вовсе деликатным, касающимся нашей половой сферы, и мы выяснили друг о друге самое последнее.

Проговорили наши с ним осмысленные отличия.

Я рассказал, что я в оргазме кричу, скриплю зубами от наслаждения, а до этого оттягиваю конец, не хочу, чтобы это так быстро заканчивалось, а Уваров признался, что не может своего оргазма добиться, у него не получается, он слаб в половом отношении, а когда он происходит, то он едва замечает его.

– Если и достигаю, то что он есть, что его нет, почти одинаково.

Это незнакомая особенность другого человека меня просто сразила. И в то же время как я сразу возвысился внутри себя над ним. Как мне дышать стало легче.

Оказывается, я могу радоваться жизни, мне так много дано, я познал самую главную тайну на свете, которая заключается – я это уже знал – как раз именно в последнем содрогании. Это краеугольный камень, на котором все стоит, нет ничего сильнее. Важнее. Для меня эротика такая сильная вещь, что в жертву ей я готов принести все, цивилизацию, удобства, комфорт, власть, славу: «и ради ножек забывал я жажду славы и похвал». Я понимал эту Пушкинскую дилемму. Мне это знакомо. Потому что для меня, счастливого, получающего наслаждение еще и от творчества, есть все же именно такая проблема выбора: любовь или творчество. И даже духовность отсюда же, из ощущения чувства вины и отталкивания от себя этого, самого сильного и желанного, преодоление его. В принципе, все эти вещи, и творчество, и духовность, из одного источника.

У Уварова слабый оргазм, и у него всего этого нет. За такое его наслаждение не положишь жизнь, к такому не будешь и особо стремиться. Нет особого стимула искать его (поэтому он ищет как бы духовность, духовность в окружающем, духовные отношения с женщинами, содержательные отношения, каких ему с ними постоянно не хватает). То, что я имею, я имею в себе и навсегда. Все ношу в себе самом. Мне далеко ходить не надо.

– Ты еще и онанизмом занимаешься? – как-то однажды поразился он.

Мне только найти женщину, и все, я растворился. Вся загвоздка в том, чтобы найти идеал, мадонну или суженную, которая всегда влечет. И на этом точка. Это обетованный берег. Я тогда могу успокоиться и заниматься всем другим. Уваров в себе ничего не носит, ему надо, чтобы это нечто ему привнесли, ему нужна женщина, фантастическая женщина, которую все хотят, и которая все и привнесет, все ему принесет, и желание в него привнесет, и любовь, и страсть, а найдя реальную женщину, он остается не до конца удовлетворенным. Никакой точки у него не происходит, ему надо

что-то еще, ему нужны перчинки, приправы, соусы. В нем нет этого моего а ля Руссо, он во многом больше находится в цивилизации, чем я. Главное, что он, получается, и творческого наслаждения, может быть, лишен, поскольку это из одного источника...

Для меня главное наслаждение в жизни, самое сильное наслаждение – это совокупление. Я ишу сумасшествия, подвиги, слез, расставаний, пылких встреч, сумасбродств. Со страстью, с потерями, с дорогами, встречами, он так сказать не может, у него другой набор сильных ощущений: изысканная кухня, красивый антураж, комфорт, все как-то в совокупности, уют, семейственность, покой. Он половую жизнь воспринимает как праздничное настроение, как женское ласку, как вкусную еду, все в комплексе, этакое расслабление. Расслабляющий массаж. Дорогой гостиничный номер, песчаный пляж на лазурном берегу. Или уют дома, нежность, тепло. Модные книги, поиски духовности и содержательный разговор, социальное удовлетворение от обладания социально значимой женщиной. По мне: красивая женщина – зачем с ней еще говорить? Как и напротив, я могу это и с некрасивой женщиной делать, и тоже почти все равно – как в голоде может доставить удовольствие простой кусок хлеба, так и некрасивая женщина может принести радость. В нем только факт обладания социально значимым объектом, он никогда не забудется, с голода ни на кого случайного не набросится. Ему нужны добавочные раздражители, нет аппетита к жизни. У меня, наоборот, жадность. Я как собака проглочу кусок. И я не могу пресытиться. Помнится, однажды я полдня добивался Оленьки после ее пребывания с утра у него, а потом когда она согласилась, перевозбужденный, конечно, закончил все очень скоро, не доставив ей никого удовольствия, и она в досаде больше мне не позволила к себе прикоснуться, хотя второй раз я был бы учтив и ласков, но она, видимо, вспомнила и сравнила, как Уваров за несколько часов до этого ее целый час обласкивал, обхаживал, долго и упорно, специально стремясь довести ее до экстаза, сам ничего не испытыв.

– Вы создаете цивилизацию! – театрально кричал я ему во время наших с ним бесед на дорожную для нас тему. – Суету, уничтожающую непосредственность

и естественность, вы породили весь этот техногенный мир и общество потребления, вы, слабые в половом отношении...

– А вы дебилизируете отношения, примитивизируете их. Превращаете просто в секс.

– Зато от нас нет вреда, нам достаточно охапки сена, и мы растворились, а вы испоганили всю экологию своим стремлением к удобствам.

– А вы бы так и жили в пещерах всегда, и сознание у вас никогда бы не развилось.

– А вы, чтобы компенсировать ваше недополучение сексуальной радости, возвеличили роль комфортабельности настолько, понаворотили громадьё бытовых сооружений такое, заполнили умопомрачительной техникой землю так, с этими вашими городами-мегаполисами, требующимися для удовлетворения вашей неудовлетворимой прямым путем похоти, что погубите уже скоро весь мир. Вы ведь убедили всех, что никто не может получать настоящей половой радости, а значит счастья, без обладания всеми этими вашими достижениями цивилизации, всеми этими удобствами. И обманув этим даже сильных в половом отношении людей, которые тоже стали за комфорт бороться, вы уничтожили практически уже все земные ресурсы. И это повсеместное потребление вашей бытовухи скоро и уничтожит и целиком землю и возможность вообще получать какую-либо радость, даже вашу невразумительную. В то время как счастье людям приносит только совокупление. Без всяких комфорта и удобств. Если уж на то пошло, голый секс. После которого партнеры курят бамбук, и больше им ничего в мире не надо. В порочности этой вашей великой ненаглядной цивилизации повинны именно слабые в половом отношении люди...

Так, театрально обвиняя друг друга, говорили мы.

Но ведь и на самом деле, даже когда он сорвался и бросил аспирантуру, и пошел по моим стопам, практикуя асоциальное бродяжничество в поисках творческих озарений – то и тогда он уехал не на Север, не в глубь страны, не в тайгу, не в трудности и одиночество, а в Одессу, на песок, к теплому морю, под воспоминание своих дурацких стихов, которые он сочинил в армейские годы

своему сослуживцу на демобилизацию:  
«И будем снова вместе  
ходить мы по Одессе,  
и будут нам динары  
оттягивать карманы».

Бред, конечно, но как-то это очень хорошо подходило к его яркой внешности.

## 5

И уже вся наша последующая общая жизнь сложилась в Москве...

– Ну что, – первое, что спросил я, когда мы встретились с Уваровым на улице Горького, после его приезда в Москву и после его возвращения из бродяжничества – заполнил блокнот?

– Нет, ерунда, – отмахнулся он.

– Что, совсем нет? – искреннее озабочился я.

– Так, пустяки какие-то.

Мне стало досадно еще и от того, что мой метод не срабатывал. Что необъятные пространства и трудности, которые дают нам творческие инсайты, оказывается, еще не все, что закономерность не однозначна. Что не только одиночество и трудности, асоциальное и неудобное требуются, что для озарений этого недостаточно.

– Ты, наверное, не туда поехал, наверное, не те трудности себе подыскал, не так себя настроил?..

Я уже знал, что он восстановился в аспирантуре, что защитил диссертацию, что в Москве на повышении квалификации. Что скоро ему дадут тут работу.

– Как тебя приняли обратно в университет-то?

– Да нормально. Ректор спросила только, больше убежать не будешь? Я говорю, нет, больше не буду, и на этом вопросы закончились..

– Что у тебя в личной жизни?

– Тоже ерунда

– Что такое?

– Женщины это только алчность. Им не надо больше ничего.

– Ты, наверное, ищешь у них то, что у нас с тобой было?

– Ну, в какой-то степени ты прав. Но этого нет. Даже ни в малейшей степени.

Он даже мне продемонстрировал свою очередную девицу, мы встретились через несколько дней после первой встречи около выхода метро, где я забирал у него свою новую рукопись, дававшуюся ему для прочтения, которой



я очень дорожил. Он еще сказал, демонстрируя девушку и куражась:

– Мы с Танечкой прочли. Нам понравилось.

После чего мы как-то уже никогда в нашу общую жизнь, и Боря тоже в ней присутствовал, девушек наших, а потом и жен, не впускали. Не то, что это было не рекомендовано, мы просто понимали, что этого не надо делать никогда. А в тот раз, увидев его девушку, я еще поразился, почему на него всегда западают такие оторвы. Это же просто ходячие резиновые куклы. Красивые – да, но ведь и красивые могут быть, как и капитализм, с человеческим лицом. Или этого не может быть в принципе?.. Тем не менее, его всегда вычисляли только стервы, в то время как он-то искал всегда духовности.

– Ты помнишь у тебя была красивая девушка из деревни, из студенток твоих, – сказал я ему потом по телефону, – красивая такая, просто куклолка, с голубыми глазами? С которой, как я тебе рассказывал, я даже случайно потом встретился в поездке в Коченево, я еще там специально остановил мотоцикл, нежданно увидев ее с коляской и ребенком, остановился, окликнул ее, и она, узнав меня, в память о тебе бросилась мне на шею и долго плакала у меня на плече? Вот кто тебя действительно любил, и кто был с душой, и которая и сейчас, я уверен, тебя еще любит, хотя и замужем, и с ребенком, и говорила-то она эти две-три минуты прежде, чем вернуться к своей коляске и подруге, с которой шла, только о тебе. Почему, спрашивала она меня тридцать раз, мы не могли быть с ним вместе? Это ведь после замужества с другим, после рождения ребенка... И я не мог ей ничего ответить. Чего ты с ней не остался?

– Да, вот не смог. Чего-то мало мне было. Душа чего-то требовала.

– Попсы она у тебя требовала, твоя душа. А появляется на самом деле душа, а души-то тебе как раз становится мало, и находишь одних бездушных монстров. Одна с бешенством матки, которой доктора прописали, видите ли, разную сперму, а то у нее плохо со здоровьем, и она нашла тебя, она, видите ли, с вынужденного согласия мужа постоянно имела связь с другими мужчинами, и целых полгода и из тебя кровь пила, подавляя морально, поскольку тебе приходилось на работе еще и встречаться с ее обо

всем знающим мужем, а своей сексуальной ненасытностью сформировала в тебе просто чувство ущербности. Как ты мог такую терпеть, позволить такой с собой быть или такую найти? Или твоя жена, морочившая тебе голову своим лесбиянством целый год, пока ты с ней не развелся? Видимо, не то ищешь, не та установка. Тебе не душа, а какие-то статусы отчаянности и ненормальности нужны.

– Это от моего чувства ущербности, я уже с тобой говорил на эту тему. И ищу того, чего мне недостает.

– Да ладно тебе болтать про свою ущербность, не надо лезть в мою епархию. Это не твое. Твое предназначение – найти нормальную красивую девочку и нарожать красивых детей. И я тебе буду вечно завидовать. А ненормальности и декаданс – это не твой профиль.

## 6

Московскую жизнь я начинал с Борей. Он первый из нас переехал жить в тогдашнюю метрополию, поступив в Гиттис. А куда он еще мог поступить со своей тонкой чувствительной женственной нервной организацией и со своим особым вниманием к внутренней жизни человека, с умением понимать все ее малейшие душевные движения и свято превозносящим «чувство прекрасного»..

Боря всегда был для меня проводником в мир красоты, эстетике и чувственных удовольствий, в мир красивой жизни, в реальные достижения цивилизации, которую я так поносил в разговорах с Уваровым, в красивый антураж. Он как-то умел в отличие от нас с Уваровым быстро устраиваться в этой жизни. За десять лет после окончания вуза до встречи с ним в Москве я уже окончательно сложился в дикого человека, бродяжничавшего с рюкзаком как по просторам страны, так и по ее культурным центрам, таким как, скажем, Москва, Петербург, Минск, Киев. В которых я тоже жил наездами для посещений театров, кинопросмотров, музеев и библиотек, останавливаясь у знакомых везде, где застала ночь, и чтобы не обременять людей, ходил везде со своим спальником. Была у меня такая сумка, в которую входил тонкий спальник-скатка. Это вообще был мой конек, продолжать походную жизнь и в городских условиях. Непритязательность, умеренность во всем, умение обходиться малыми. Все

свое ношу в собой. Ни от чего и ни от кого не зависеть, и если надо, то можно переночевать и на скамейке вокзала. А летом вообще в парке под кустом. Что в Москве, правда, при наличии многих знакомых там, бывало достаточно редко.

Боря был совершенная противоположность мне, он представлял собой человека с жизнью размеренной, устроенной, вальяжной, жизнью отменно воспитанного гурмана и эстета. Когда мне надо было с кем-то посоветоваться по элементарным житейским проблемам или что-нибудь купить, я обращался именно к нему. У него были обширные познания о жизни в Москве и нюх на качественные вещи. На красивые. На надежность. Он был просто фантастического вкуса и в то же время практического подхода человек. Если он мне покупал сумку, я носил ее целое десятилетие. Я специально выбирал его путеводителем.

– Но это же вещь! – говорил он продавщице в магазине, когда находил что-то стоящее и то, что мне требовалось. – Согласитесь?

И продавщицы всегда были вынуждены согласиться.

Он знал, где какие удобства, какие гостиницы, какие бани, на каких курортах надо отдыхать, в каких поездах ездить, какие авиакомпании использовать. Какие страны для трюистических поездок предпочтительнее. Где и в какое время можно купить самые дешевые билеты. А что до удобств домашней бытовой жизни, то в познании их не было ему равных

Он умел готовить. И любил готовить. Именно он являлся подтверждением мнения, что самый лучший повар – это, конечно, мужчина. На рынке у него всегда были свои постоянные продавщицы, с которыми у него завязывались дружеские отношения. Он знал толк и в магазинах, в каких что покупать следует. Следить за тем, как он выбирает пучок петрушки или орудует на кухне было вообще наслаждением.

А как он располагал к себе людей! Не говоря о интеллигентных, но даже всех бабушек-консержек в своем подъезде он умел очаровать. А уж что говорить об ответственных чиновниках министерства культуры или заслуженных деятелях искусств, или иностранцах, приезжавших к ним в институт, тут он уж во всю пускал в ход все свое обаяние. Вот у кого не

было абсолютно комплексов. Он умел с любым человеком составить общение, заинтересовать в себе, найти тему для разговора, используя всю артистичность своей природы, не просто произвести впечатление, а стать для каждого своим.

Он меня пытался выводить в свет, правда недолго, поскольку быстро осознал всю мою дикость и в конце концов оставил эту затею.

Правда, надо признаться, и свет-то этот был несколько тускловат.

– Вот эта девушка будет скоро зам главного редактора газеты «Правда». – говорил он, и речь шла о самой главной партийной газете той эпохи. Главной газете страны. – Это будущие члены нашей элиты. Будет делать нашу культуру, – предупреждал он меня, когда мы ехали на очередную встречу домой на какой-то журфикс к этой молодой женщине. Очень молодой и очень красивой. И заканчивал с некой обреченностью. – Она молода, красива, дочка X, и лесбиянка. Увидишь там ее партнершу.

На самом деле, среди сборища красивых изящных людей, ведущих милую беседу за стаканами вина, я видел эту очень милую девушку, которую хозяйка иногда поглаживала по плечу, проходя с новыми бокалами мимо.

– И вообще, ты не представляешь, до какой степени в этих сферах много голубизны, – делился он своими мыслями на обратном пути. – Даже задумываешься, может быть, именно поэтому все они там и обитают?

Боря не был порочен в душе, в душе он на всю жизнь оставался чистым, он не выставлял напоказ и в достоинство свою нетрадиционность, не носился с ней как с писаной торбой, в отличие от тех сборищ, куда он меня приводил, где только и намеков было на особые отношения некоторых там присутствующих, высший юмор на которых был – это завуалировано и иносказательно пройтись на счет того, кто с кем спит, а спит, конечно, нетрадиционно, этакая горчичка, перчинка на юморе. Пусть он и черпал тут поддержку своей нетрадиционности, тем не менее, носил ее в себе больше как страдание, как проклятие, как вину, но не как жадность до получения чувственных утех.

Я тогда после развода со своей первой женой находился в продолжающемся состоянии поиска истины, на пути

достижения сущностей христианства, толстовского учения о непротивлении, языческого возвращения к законам природы, весь в опытах аскетизма, со свойственным этому увлечению духовным образом жизни, корил себя за свое распутство, и как Уваров в свое время с его идеей правдоговора, всюду навязывался со своими мыслями о половых отношениях только ради зачатия детей.

– Тебе не кажется, что с пресловутым и разрекламированным эволюционным развитием человеческого общества, – спросил я однажды Борю, – человек, далеко оторвавшись от природы, факт совокупления перевернул с ног на голову? Деторождение и зачатие при совокуплении он сделал вторичным, побочным даже. Ненужным. На первое место вывел наслаждение, стремление к нему. В то время как согласно природе зачатие – это и есть то главное, к чему нас и толкает желание этого рода наслаждения и весь процесс совокупления, и ради чего совокупление вообще и происходит. Как полагаешь, не чувствуется ли тут какая-то фальшь, какая-то неправильность, какой-то грех, не находишь?

– Для меня совокупление, в силу определенных обстоятельств, всегда является грехом, – ответил Боря, сразу положив конец обсуждению этой темы..

Что и говорить, он всегда оставался для нас марсианской непонятной терра инкогната.

## 7

Мы собирались втроем в однокомнатной Бориной квартире на Ленинградском проспекте, которую он какими-то путями раньше, чем мы оба определились с жильем, заполучил. Это было выше нашего понимания и способностей. Такое мог только он. Подтверждая расхожее мнение, что талантливый человек во всем талантлив, он для нас являл пример великолепной адаптированности к социальной жизни. К тому времени успешный молодой театральный режиссер, имеющий большие перспективы, вполне осуществимые планы, которые обязательно бы состоялись, если бы не события 93 года, перечеркнувшие всю тогдашнюю культурную жизнь в стране. Умный, находчивый, даже и после развала всякой социальной жизни и крушения нашего государства, сумевший в отличие от множества других деятелей культуры,

просто спившихся, умерших от голода, уехавших работать официантами и посудомойками на Запад, выкарабкаться и найти себе место и применение в новой нашей жизни, пусть не такого размаха, какой предполагалось раньше, но все же не позволившее ему превратиться в бомжа и, мало того, дающее возможность получать, в отличие от нас, расставшихся каждый со своей к тому времени наработанной деятельностью, профессиональное удовлетворение. Ну, а тогда он вообще был на взлете, обладал множеством преференций, и нельзя сказать, что мы уж так явно отказывались ими пользоваться.

Мы садились за обеденный стол и сдавали карты. Во что мы там играли? Да в какую-то ерунду. Неважно. Преферанс, покер... Это как раз было совершенно несущественно. Да мы и играли не на деньги. Только ради выигрыша. Но надо сказать, с огромной страстью, с искренними переживаниями, злостью, которую, если рассудить здраво и после игры, мы позволяли себе только тут. За карточным столом. Всю страсть, искренние переживания, зависти, торжество победы, злорадство, чувство вражды и ненависти, всю досаду, весь азарт мы вкладывали в карты. Даже удивительно было на нас с Уваровым смотреть, такую мы, возвысившиеся над пресловутым обывательским поведением, выказывали подверженность обывательским чувствам. Разве что Боря, пожалуй, единственный из нас, оставался всегда миролюбивым и бесстрастным, глядя на нашу игру как на баловство и лишь на повод быть вместе. И даже и когда проигрывал, продолжал улыбаться. Мы же с Уваровым воспринимали игру как жизнь, ту жизнь, какую мы себе не позволяли, и которую всячески осмеивали и искореняли, и которую разрешали себе только как картежное приключение.

Тем не менее, как мы оставляли в стороне свою «необывательскую философию», так и Боря оставлял свою эстетику, свои спектакли, свои звездные знакомства, позади. И чистые и искренние уходили в сильные страсти, в опрошение, в долгожданную сказочную непосредственность...

В этих сборищах своих мы были удивительно постоянны. Мы втроем, взяв это из юности, пронесли желание находиться время от времени вместе через

всю жизнь. Просто вместе. Круг наших знакомств за жизнь вырос неимоверно. В то же время друзьями в нашей жизни могли быть друг другу только мы.

Боря что-то готовил по ходу игры на кухне, время от времени отлучаясь к духовке. Но и это было не главное. Главное не в том, что мы потом ужинали и даже выпивали вина. Главное, что мы были счастливы, собираясь в какой-то из выходных у него. Без женщин, без жен, без детей. Святой мужской союз...

Если говорили, то говорили о пустяках. О болезнях. Боря, по своей природной мнительности вечно переживал о своем здоровье, жаловался на депрессию, на жизнь на копейки. Нет тогда, до начала девяностых и развала нашей культуры, он еще не жаловался, тогда он был удачлив и был, наоборот, оптимистично настроен, и играя с нами, просто молчал. Не хвастался ни своими знакомствами, ни своими успехами, ни победами. Не выставлялся, а просто улыбался, глядя на нас, и болтал как все мы, о несущественном. Главное для нас был какой-то обмен энергией. Между всеми троими. Нам просто было хорошо. Это как знать, что ты одинок в мире, ты уже не мальчик, ты вырос, и даже мальчишеское романтическое прозрение, заключающееся в осознании, что ты одинок, одинок катастрофически и бесповоротно, уже тебя не радует, не придает твоей жизни этакий возвышающий тебя в твоих глазах драматизм. Все это ты уже исследовал и превратил в привычное понимание. Ты оценил уже во всем объеме цинизм жизни, понял что, ты, как каждый человек, будешь одинок до конца, до самой гробовой доски, кем ни окружай себя и с кем ни сближайся, но, вот, сложилось так, что вас трое в жизни когда-то склеились, и для вас, когда вы втроем, как бы есть возможность забыться, обмануться и почувствовать себя неодинокими. Больше обмануться вам в жизни просто уже не с кем. Мы понимали в глубине себя, что и это иллюзия, заблуждение, но даже этого заблуждения ни с кем в наших жизнях больше мы не могли испытать. И мы это ценили. Мы даже помогали друг другу, как это делают настоящие друзья, как будто нас на самом деле было трое в мире, будто на самом деле «святой мужской союз», когда надо было, когда кто-то нуждался в помощи, мы протягивали

ему руку, как заведено у друзей, у тех, из святого мужского союза, хотя, конечно, эгоистично ждали от существования друг друга лишь комфорта, удобства, сочувствия, дружеской опеки, дружественной энергии и расположения, ждали лишь выгоды для себя, но все же на то, чтобы помочь друг другу, пусть и преодолев и пересилив свое нежелание, мы шли, и акты взаимопомощи совершали, согласно опять же кодексу того же священного мужского союза, в который очень слабо верили, но на некоторое время все же иллюзию неодинокства старались превратить в реальность, и все делали так, как было написано в обывательских книгах о том, как настоящие друзья всегда поступают. Особенно последователен был в этом отношении Уваров, на него всегда можно было положиться. Не исповедуя веры в дружбу, не говоря красивых слов, он все же понимал, что это долг и, жертвуя своим спокойствием, своим временем, ленью, удобствами и подчас и деньгами, не раз нас с Борей выручал. Как это и должно быть заведено между мужчинами.

– Мужики. Встречаемся следующий раз через полгода. Давайте определим дату. Чтобы о ней помнили...

## 6

Прошло еще двадцать лет. Мы с Уваровым читаем Кастанеду.

– Смотри, на самом деле, в магическом мире «видящих» индейцев мужество видящего воина состоит в том, что он знает единственное: он никогда не достигнет мистического осуществления своих целей, так называемого освобождения, или в нашем с понимании, в христианском истолковании, не достигнет бессмертия, у индусов – просветления, он знает, что у него не хватит сил, ничего не выйдет, но раз взявшись идти, он идет. Идет, «как воин идет на войну, – полностью пробужденный, полный страха, благоговения и безусловной решимости».

– Он знает, что не достигнет, не изменится, не получит, не обретет, не победит, но идет, потому что знает, что он должен идти. И действует так, как будто знает в точности, что надо делать, тогда как в действительности не знает ничего.

Мы сидим с Уваровым в его московской квартире. Которую он купил на заработанные на розничной торговле женскими сумками деньги, забросив уже

докторскую диссертацию, которую он писал после защиты кандидатской по теме Лев Толстой и восточная философия, да и всю карьеру, которая закончилась с исчезновением прежней страны. Где-то там в другой комнате его жена. Велико-возрастный сын-наркоман, сморенный новым временем. А мы с ним говорим.

– Ты знаешь, ведь согласно кастанедовскому дону Хуану, в человеческой природе только и есть, это обывательское мышление, которому он присваивает название неконтролируемой глупости. То есть все, что мы делаем, это суета и глупость, но воин, стремясь к недостижимому, единственное, что может, это превратить свою жизнь в глупость контролируемую, глупость осознанную.

– У него это немножко смахивает на буддизм. – Говорю я. – Несмотря на абсолютно разные термины и позы для медитации и многие понятия, есть какая-то подспудная связь. Может, это оттуда? Не замечал?

– Но это может быть и не заимствование, может быть, это вместе параллельно вырабатывалось? На разных континентах, в разных цивилизациях. Просто один и тот же механизм. Может быть, это вообще один механизм человеческого мышления, один путь? Для видящих, или просветленных, или стремящихся к осознанию и освобождению. Всеобщий кодекс антиобывательского состояния.

– А может быть, истину привнес кто-то один, а на разных континентах она по-разному прозвучала, ее по-разному разнесло, по-разному интерпретировали. Обращал внимание, что примерно в 6 веке до нашей эры определенные новшества привнесены были во все культуры?

– Тем не менее, главное это результат. Главное, что вывод везде один, сознанием можно творить фантастические вещи, сознание – это намного больше, чем просто отражение материи. Это мистика. Но и оно ни для чего. Все равно ни для чего. И неважно, кто и откуда что позаимствовал.

– Кастанеда с его Доном Хуаном – это предел мыслительной деятельности человечества. Никакого Бога нет, никакого чуда, которое тебе поможет прозреть, исцелиться, стать богатым или красивым, воплотиться в лучшем теле или в лучшей жизни по закону кармы или обнаружить себя в раю – нет. Нет никаких сверхъе-

стественных приуроченных для тебя небесных обитателей.

– Есть только такая жизнь, которой ты живешь, и есть только то, что ты достигаешь своими усилиями над собой же, есть только попытки обуздать свое сознание. Вероятность твоей победы ничтожна, но путь дан. Или пути даны. Если проанализировать, то не оказывал никто в 20 столетии большего влияния на умы, чем Кастанеда, философы просто комплексуя, не принимая его за своего, потому что он и их отнес к сфере неконтролируемой глупости. Потому что после Кастанеды так, как прежде, жить и думать уже нельзя. В наше время нельзя. Тут откровение. Мир не может жить, как жил до него, его мысли начинают даже проникать и на уровень обывательского сознания, это чувствуется, начиная с фильмов «звездные войны», списанные с внешней стороны книг Кастанеды, культового фильма «Матрица», в которую всажена уже более глубокая его мысль, и у наших авторов, типа Пелевина, перепевающих тоже непервостепенные открытия, и кончая всеми писателями и философами, даже не признающимися себе в том, что они думают и живут уже в реальности посткастанедисткой. Кастанеда подвел всех к обрыву, поставил на грань, он так все перевернул, так убедительно разгромил все принципы нашей жизни, что воздействие этого ощутил каждый думающий человек, и дальше думать по-старому стало невозможно.. Когда дон Хуан, этот необразованный индеец, а в сути своей гениальный маг и гениальный философ, когда Кастанеда пытается подарить ему книгу о нем же, о великом его учении, с извинением отклоняет его подарок, говоря:

– Ты же знаешь, на что мы в Мексике используем бумагу.

То этим он долгожданно перечеркивает всю нашу культуру, вместе с нашей самоуверенностью и самонадеянной верой в цивилизацию, и власть письменного слова, всё, с чем мы, ограниченные в своей истории какими-то двумя-тремя тысячами лет, так самовлюбленно носимся.

– Вот смотри, говорит Уваров: «Люди заблуждаются, давая имена миру и ожидая после этого, что он будет соответствовать их обозначениям, заблуждаются, полагая, что их поступки, их действия – это и есть мир. А мир это



тайна, мир непостижим». Начиная же с Пифагора и Аристотеля и кончая Гегелем и современными философами, мы только и делаем, что раскладываем мир по полочкам и пытаемся детализировать и придумывать его тайнам и отдельным его деталям названия и формулы, придумать для него законы. Мир же надо просто принимать целиком таким, каков он есть – непостижимым и таинственным!.. И знаешь, ведь это утешение.

Когда дон Хуан у Кастанеды говорит, что вся суть и разнообразие мира заключается лишь в точке сборки, всего лишь в том, на каком расстоянии от энергетического «светящегося» тела каждого индивидуума точка сборки энергетических силовых «линий» вселенной находится, это не производит удручающего впечатления, потому что остается еще стремление, стремление приобщиться этих тайн и эти тайны постичь. Гениальный писатель! Не было более великого достижения в 20 веке, ни один даже из эзотериков, ни Блаватская, ни Рерихи, ни Рамакришна, кто предназначал нам духовный путь, никто так не подействовал на духовность людей, как Кастанеда. А от него всего одна фотография осталась.

## 6

Уваров никогда не плакал на похоронах. Считал, что мы все смертны и чего горевать. Он относился к другим, как и к себе: все мы умрем, чего рыдать, всех это ждет.

– Надо бы поплакать, старушка одна остается, но не могу, ведь все обычно, кто-то уходит раньше, кто-то позже, а говорить одно и то же о горестях и печали, когда все понимают, и эта бабушка тоже, что это естественное явление, не стоит. Это так и на моих похоронах будут плакать, а что плакать, если это неизбежно и так должно быть? В молодости хорохоримся, вроде, все понимаем, а в старости начинаем жалеть себя и сопли распускаем, а, казалось бы, ближе становимся к Истине, и понимать бы должны лучше и свыкнуться с неизбежностью, философии набраться. Но нет, всё наоборот, рыдаем как последние бабы. Страх смерти лишает способности объективно рассуждать. Рассуждения на необывательском уровне покидают нас вовсе. Какой там вселенский объективный разум!.. Одни приспособленческие инстинкты...

Я тоже не плакал на его похоронах. Я думал о том, что он оставил после себя в жизни. Шел дождь, жена его, истоптав сапожки в грязи, еле передвигала ноги. Эгоистично, как бы сказал Уваров, плача о себе, как же она будет без Вовы? Вот христианство всегда доказывает, что оно впереди планеты всей со своим чувством любви к ближнему. Иной христианин, часто путает любовь к себе и к своим привязанностям с любовью к ближнему. Но даже, когда христиане понимают свою христианскую самоотверженную любовь правильно, то все равно то же самоотречение буддистов, или суфиев или учение Конфуция, в основе которого древнейшее золотое правило: не делай другому ничего такого, чего не хочешь, чтобы сделали тебе, – или даосское: «высшая гуманность похожа на равнодушные», – во всех этих религиях, любовь к ближнему полагается всего лишь первой ступенью в познании себя и устремленности к Истине, к просветлению, к совершенному осознанию, к тайнам мироздания, в достижении чего подобных ступеней имеется еще не одна, и каждая последующая сложнее предыдущей. Но тот же буддизм, в котором любовь к ближнему является лишь только основой, лишь самым первым кирпичиком в построении высокого здания, ведущего к нирване, к просветлению, христианами-обывателями презрительно называется язычеством. Самонадеянно и смешно. А уж как там принять Кастанеду!

Что правильно, быть причисленным к лику святых, заслужив себе царство небесное, превращением себя из эгоиста, злодея и убийцы в раскаявшегося грешника, в покаявшегося праведника и Богом возлюбленного отшельника, через свои молитвы, вериги, епитимии, аскезы и подвижнические труды заслужить прощение и обрести дар предвидеть и предсказывать судьбы, способность исцелять и наставлять людей на путь истинный, приводящий их к любви к тому же Богу, и после себя оставить даже нетленными мощи, к которым еще долго могут люди с пользой для себя прикладываться. Или, несмотря на последовательное неверие в Бога и его даруемые нам блага, неверие в воздаяния и в райские кущи, обитель праведников, не подвизаясь на стезе особо самоотверженной любви к человечеству, в то же время ни разу за всю жизнь не только не убить человека, но и

не обидеть ни одного из людей особенно сильно, не причинить боли ни одной твари нашей меньшей, с самого своего детства держать себя в узде, с самого детства смотреть на себя со стороны, понимать всю тщету и глупость своего эгоизма и собственного «я» в сравнении с такими же эгоизмами многих миллионов «посторонних людей», нисколько не выделяя себя среди подобных прочих, относясь к себе объективно, и с циничной безысходностью отрицать любой смысл жизни, в том числе и альтруистическое служение другим.. Мужественно нести на себе свое безверие, каждое утро нового бессмысленного дня, начиная с усилия воли в противостоянии бездне бессмысленности. Стойко выдерживая на этом пути груз необладания истиной, отмечая все лишние желания, будучи преданным только одному устремлению: выяснить, куда же идти? И смириться с тем, что при всех потугах, идти придется, видимо, все равно в бессмыслие. Смирение...

Что посчитать правильным, что посчитать наиболее трудным и заслуживающим уважения и что предпочесть?

Уваров не сделал ничего выдающегося в жизни, даже ту диссертацию, которую он написал, за уничтожением культуры страны, никто даже и не заметил, он не помог миллионам, не создал вечных

ценностей, не достиг освобождения, не сгорел в огне изнутри как Дон Хуан, уходя в другой, им выбранный, мир. Не превратился в бессмертного.

Он каждый день начинал с ноля, и весь день преодолевал маленькие препятствия и искусы, как мы все преодолеваем, кто больше, кто меньше, совершая маленькие подвиги каждый день на нашем каждодневном отпущенном нам пути к смерти. Которая сама по себе тоже является загадкой, мистической завораживающей тайной из той же области абсолютно неизвестного и в то же время восхитительного окружающего нас мира.

Сейчас у меня много друзей. Много знакомых, приятелей. Все взрослые, зачастую состоявшиеся, интересные уважаемые люди, имеющие свое определенное значение в обществе, отцы семейств, высокого уровня профессионалы, нашедшие каждый себе применение в жизни и каждый свою истину, как, собственно, и я сам, все у нас с ними трезво, понятно, осмысленно. И рады будут друзья, когда к ним придешь, да и сам рад подчас к ним прийти.

А вот поговорить не с кем. Со смертью Уварова мне решительно не с кем стало поговорить.

---